

**СЕРГЕЙ  
ГОЛИЦЫН**

ЦАРСКИЙ  
ИЗГНАННИК

Россия державная

Сергей Голицын  
**Царский изгнанник**

«Public Domain»

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Голицын С. В.**

Царский изгнанник / С. В. Голицын — «Public Domain»,  
— (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03514-2

Князь Сергей Владимирович Голицын (1823–1879), как и другие потомки древнего рода князей Голицыных, давших Отечеству множество военных и государственных деятелей, не чуждался творческих занятий – был писателем и музыкальным критиком. В романе «Царский изгнанник», публикуемом в данном томе, отражена Петровская эпоха, когда был осуществлен ряд важнейших преобразований в России. Первая часть его посвящена судьбе князя Василия Васильевича Голицына, боярина, фаворита правительницы Софьи. Придя к власти, Петр I сослал Голицына в Архангельский край, где тот и умер. Во второй части романа рассказывается о детских, юношеских годах и молодости князя Михаила Алексеевича Голицына, человека блистательных способностей и благородных душевных качеств, чья судьба сложилась впоследствии трагически. После женитьбы на итальянке и перемены веры на католическую он был вытребован в Россию, разлучен с женой и обречен на роль придворного шута Анны Иоанновны.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03514-2

© Голицын С. В.  
© Public Domain

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая                      | 5  |
| Глава I                           | 5  |
| Глава II                          | 15 |
| Глава III                         | 25 |
| Глава IV                          | 36 |
| Глава V                           | 47 |
| Глава VI                          | 59 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 60 |

# Сергей Владимирович Голицын

## Царский изгнанник

*Князю Борису Федоровичу Голицыну*

*Читая посвящаемый тебе роман, не раз вместе со мною порадуешься ты, что мы родились не в ту великую эпоху крутых, беспощадных петровских переворотов, а что мы живем в эту, – тоже великую, – эпоху мирных, человеколюбивых александровских преобразований.*

*Голицын*

### Часть первая

#### Глава I

#### Министр и стрелец

Верстах в двухстах от Архангельска и в полутораста от Холмогор, на берегу реки Пинеги стоял в начале 1713 года двухэтажный деревянный дом не очень большого размера, не лишенный некоторого изящества, особенно в сравнении с видневшимися вдали, покрытыми замерзшей соломой строениями. Перед домом этим, несмотря на жестокую стужу, собралась 15 февраля, в последний день Масленицы, толпа мальчиков и девочек от восьми до пятнадцати лет. Иные из них были одеты в теплые дубленые полушубки, но обуты в доморощенные лапти; другие, напротив того, шеголяли в толстых валенках, обшитых крашеным выростком, но зато плечи их, не то голые, не то лохмотьями прикрытые, выглядывали из-под полинялых и пообтертых поддевок. Черные бараньи шапки, красные шерстяные рукавицы и лиловые шарфы, – тоже шерстяные, – были на всех детях без исключения.

Плохо обутые мальчики, топая по жесткому снегу, поминутно, то тот, то другой, подбегали к недавно открывшимся воротам и, заглянув в них, поспешно возвращались на прежние места. Хорошо обутые или боролись между собой, или бегали вперегонки, или катались с ледяной горы, устроенной около дома, вдоль фасада здания. Все дети с очевидным нетерпением чего-то ожидали. Двое из хорошо обутых мальчиков, вскарабкавшись на вершину ледяной горы, перегнулись через перекладину и стали пристально вглядываться в замерзшее боковое окно балкона.

– Фадька, а Фадька! – закричала одному из них красивая, лет тринадцати, девочка. – Говорят тебе, затылок проломишь; ты бы лучше сходил к крестному да спросил, долго ль нам еще ждать.

– Как же, – отвечал Фадька, подвигая под себя салазки, – надясь Петька сбежал за ворота да и ушел без ватрушки.

– То Петька, а то ты, – возразила девочка. – Петька не крестник Харитонычу, а ты крестник, Петька не тебе чета; Петька Клюква, а ты не Клюква... Петька надясь стянул изюму у Харитоныча, а ты, Фадька, честный и добрый мальчик... Да и что тебе ватрушка? Из-за ватрушки народ морозишь. Крестный, чай, не оставит тебя без ватрушки...

– Не в ватрушке дело, – отвечал Фадька, спустившись с горы и подбежав к молодой девушке. – Вижу, что ты, Дуня, озябла, да и сам я, мочи нет, озяб: одежда на нас вон какая плохонькая; а как увидят меня на кухне, так не только ватрушки или блинов, да и дубленки, пожалуй, не дадут.

– А ведь сами мы виноваты, – сказала другая девочка, тоже лет тринадцати, немножко косяя и изрытая рябинками, – виноваты, что пришли так рано. Нам сказано собираться, когда услышим выстрел; а мы из церкви прямо сюда. Ведь нас вон сколько, человек сорок собралось, а повар у них всего один Харитоныч; да и тот, чай видели, был у обедни.

– Встать бы ему пораньше, так и с ватрушками бы управился, и блинов бы напек, и к обедне бы поспел, – говорила Дуня, четко отделяя один слог от другого, как будто скандируя латинские стихи и, вся съезжившись, отбивая кулаками такт по своим полуголым плечам. – Хоть бы знать, когда эта проклятая пушка выпалит, так, может, успела бы сбежать домой, – погреться...

До *проклятой* пушки оставалось еще два часа с лишком, и мы воспользуемся этим временем, чтобы наскоро познакомить читателя с обитателями единственного в Пинеге двухэтажного дома.

Нарядный снаружи, он и внутренним убранством был больше похож на дачу в окрестностях комфортабельного Лондона, чем на русское жилище восемнадцатого столетия под шестьдесят пятым градусом северной широты. Обитатели этого дома, всего с прислугой человек десять, как нельзя удобнее помещались в четырнадцати комнатах, из коих восемь высоких и роскошно убранных на нижнем этаже и шесть попроще, но также очень просторных наверху.

Не останавливаясь на подробном описании всех четырнадцати комнат, поспешим войти по мягким персидским коврам прямо в кабинет хозяина дома.

В зеленом бархатном кресле перед большим письменным столом, заваленным бумагами, сидел восьмидесятилетний старец в ватном халате, подбитом шелковой материей и подпоясанном широким кушаком темного цвета. Перед ним лежала открытая книга, в которую он изредка заглядывал, декламируя вслух и наизусть. Иногда он останавливался и повторял по нескольку раз стихи, особенно ему нравившиеся. Лежавшая перед ним книга была Полным собранием сочинений Расина; декламируемые стихи были из трагедии «Британик», старец был когда-то ближний боярин, оберегатель царственной большой печати и наместник новгородский князь Василий Васильевич Голицын.

\* \* \*

Почти четверть столетия прошло с тех пор, как, вследствие неудачного Крымского похода, предпринятого по приказанию царя Иоанна Алексеевича и сестры его царевны Софии, царь Петр, подававший на военном совете мнение против похода в Крым, задумал отстранить брата своего от соцарствия, а сестру от соправительства. Слабый здоровьем, Иоанн чувствовал и признавал себя неспособным бороться со смутами, переживаемыми в то время Россией, и, довольствуясь титулом самодержца, охотно уступил бы младшему брату все заботы по управлению государством. Но честолюбивая София, зная, что с отстранением Иоанна соправительство ее сделается бесполезным, всеми средствами убеждала его не отказываться от власти и не выпускать Петра из ее опеки.

В таком нерадостном положении были политические дела России в конце июля 1688 года. Видя, что отношения между Петром и Софией становятся день ото дня враждебнее, и желая спасти сыновей своих от беды, грозившей, по его мнению, сторонникам царевны, князь Василий Васильевич Голицын, недели через две после возвращения из Перекопа, пришел просить согласия царевны на увольнение обоих сыновей его со службы. Старший из них, князь Михаил, был незадолго перед тем пожалован из флотских офицеров в бояре с приказанием присутствовать в Посольском приказе. Эта должность соответствовала нынешней должности вице-канцлера; но для слабого, раздражительного, постоянно больного печенью князя Михаила она была чисто почетной, данной ему за заслуги отца; он сам смотрел на нее не иначе, и поэтому князь Василий Васильевич не полагал, чтобы царевна или цари дорожили таким вице-канцлером.

Другой, младший сын его, князь Алексей, бывший еще в детстве любимым спальником царя Алексея Михайловича и возведенный преемником его, царем Феодором Алексеевичем, в боярское звание, был в 1682 году, двадцати пяти лет от роду, самым ревностным, после своего отца, деятелем в государственном перевороте, известном России под именем уничтожения местничества. Причины, побудившие их затеять и совершить этот государственный переворот, по-видимому для них вредный, будут, если придется к слову, объяснены в течение этого рассказа. По кончине царя Феодора Алексеевича, в начале двоецарствия Иоанна и Петра, царские милости продолжали щедро сыпаться на князя Алексея, вскоре сравнявшегося и саном и местом со своим отцом: назначенный в январе 1688 года великопермским наместником, он должен был употребить более полугода на обозрение вверенной ему области, превышавшей пространством любое государство тогдашней Германии, и к концу года, в июле (тогда, как известно, год кончался августом), он возвратился в Москву, может быть предчувствуя бурю, готовую разразиться над его семейством. Князь Василий Васильевич не надеялся, чтобы царевна охотно рассталась с его сыном Алексеем, на преданность и на энергию которого она могла рассчитывать во всяком случае.

Выслушав просьбу своего первого министра, царевна с укором взглянула на него.

– Что ж и ты не просишься оставить меня? – сказала она. – Времена тяжелые; ты устарел, князь Василий, и тебе после Крымского похода не мешало бы отдохнуть при дворе Людовика Четырнадцатого, которого ты так превозносишь. Великий король обласкал тебя в твою последнюю поездку. Вероятно, и на будущее время он не оставит тебя своими милостями...

– Полно трунить надо мною, царевна: не то время. Я не узнаю тебя с возвращения моего из Крыма: наград я получил много; но что мне в них? Чего нет у меня? Одно ласковое слово твое дороже для меня всех золотых кубков и медалей, осыпанных алмазами. Так ли, бывало, обращалась ты со мною, царевна? Теперь слова не скажешь ты мне без насмешки. И к какому мне Людовику ехать? У нас свой вырос, помяни мое слово: всякого Людовика братец твой за пояс заткнет. Не послушалась ты, когда я говорил, что двум орлам в одном гнезде не ужиться. Хоть теперь послушайся: пока время, помирись с Петром; не по силам нам борьба эта: большая часть бояр против тебя; народ за Петра; потешное его войско не велико, но предано ему; а стрельцов хоть и много, да за тебя ли они? За Иоанна ли? Они – куда ветер подует.

– Знаю, князь Василий; но как мириться мне с Петром? Он неуступчив. Он не помирится иначе как по отречении от престола бедного Иоанна и по удалении меня от дел. Чем же буду я после такого мира? Барской барыней при его супруге? Или нянькой будущих царевичей?

– Ты всегда будешь сестрой государя, и он всегда будет уважать тебя, как старшую. Но тебе этого мало, царевна; ты хочешь власти: или Цезарь, или ничего.

– Или Цезарь, или ничего! – повторила царевна. – Неужели же это дурно сказано? И неужели, князь Василий, дело наше так плохо, так безнадежно, что ты, государственный человек, испытанный в боях и закаленный в посольских хитростях, должен без борьбы предать меня в руки семнадцатилетнего юноши?

– За тебя, государыня моя, не только на неравную борьбу, на верную плаху готов, за тебя готов даже на междоусобие, хотя и горько мне, на старости лет, разрушать то, над чем я работал всю мою жизнь. Но покуда не началась еще между вами борьба, борьба открытая, беспощадная, не долг ли мой предупредить ее всеми средствами? Я не Щегловитов<sup>1</sup>, который из честолюбия готов...

– Щегловитов готов умереть за меня так же точно, как и ты, князь Василий...

– Щегловитов молод и пылок. Я стар и опытен, царевна. Щегловитов не рискует ничем, кроме головы своей, которой он дорожит очень мало. В сражении он лев; он герой; в совете

---

<sup>1</sup> Иные писатели до сих пор пишут вместо Щегловитов Щегловитый и даже Шакловитый.

– он безумный мальчик, несмотря на свои тридцать лет. И его ли советы предпочитаешь ты моим, царевна?

– Я не нуждаюсь в советах Щегловитова; он начальник стрельцов и не выходит из пределов своих обязанностей, но ты, князь Василий, не слишком ли преувеличиваешь могущество Петра? Посмеет ли он коснуться головы стрелецкого начальника, окруженного своими стрельцами? Посмеет ли он коснуться твоей головы, князь Василий? Я уж и не говорю о моей...

– А я только и говорю, только и думаю о твоей, царевна. Я знаю, что мой долг, мой священный долг, отстаивать тебя до последней возможности, и я отстою тебя или сам погибну. Но тот ли же долг у сыновей моих? – прибавил князь Василий шепотом. – И вправе ли я требовать, чтобы они, в угождение мне, жертвовали и своими убеждениями, и своей будущностью... да и зачем они так нужны тебе? Они не намного усилили бы нашу партию, а...

– Гибель верная, хочешь ты сказать; я это уже слышала. Но, во-первых, такой человек, как великопермский наместник, не может не придать большого веса партии, к которой он пристанет, а во-вторых, князь Василий, твои сыновья не дети, а государственные сановники: они не могут быть уволены со службы иначе как по собственному прошению, пусть они...

– Ты могла бы, царевна, и по представлении твоему ни один из царей не воспротивился бы этому, послать моих сыновей, как членов Посольского приказа, или в Польшу, или к императору, или к французскому королю. Кстати, у князя Алексея сын на возраст: ему скоро десять лет минет, и мы желали бы поместить его в Сорбонну.

– Это зачем?

– Сорбонна – лучшее воспитательное заведение в Париже; нам хотелось бы дать моему внуку солидное образование.

– За обедом поговорим об этом; а покуда просмотри эти бумаги и сделай на них отметки. – И царевна вышла из комнаты, указав своему министру лежавшие на столе, еще не распечатанные, пакеты.

К обеду собралось все семейство князя Василия Васильевича, кроме жены его, княгини Феодосии Василиевны, неохотно показывавшейся при дворе царевны.

– Миша, – сказала царевна, поцеловав внука князя Василия Васильевича и сажая его около себя, – знаешь ли, что дедушка отправляет тебя учиться во Францию?

– Знаю, государыня царевна; знаю, что меня отдадут в Сорбонну, если ты дашь на это соизволение, – отвечал мальчик, не в первый раз говоривший с царевной и выученный, как, по тогдашнему этикету, надобно отвечать царевне.

– И ты, княгиня Мария Исаевна, – спросила царевна у матери Миши, – благословляешь его на такое дальнейшее путешествие?

– Как же не благословить, государыня, когда этого желают и князь Василий Васильевич, и муж мой? Я хоть и не нежная мать, а все-таки жаль расстаться с сыном: он у меня один остался, но у нас обучиться ему негде, а учиться надо: не те времена, чтоб без учения выйти в люди. Боюсь только, что теперь с отменой Нантского эдикта<sup>2</sup> во Франции не совсем спокойно...

– Да и у нас не спокойнее, – отвечала царевна. – Ну а с кем ты, Миша, поедешь? С отцом или с дядей? – спросила она у мальчика.

– Нет, государыня, – отвечал князь Алексей Васильевич за своего сына, – Миша поедет не с отцом: место его отца в Москве.

– Нет, государыня, – повторил за братом князь Михаил Васильевич, – и мое место теперь не в Париже.

– Как же ты говорил мне, князь Василий, что твои сыновья хотят ехать за границу? – обратилась она к князю Василию.

---

<sup>2</sup> Нантским эдиктом, изданным в 1598 г. французским королем Генрихом IV и отменным в 1685 г. Людовиком XIV, предоставлялась французам-реформаторам полная свобода вероисповедания.

– Я не хотел советоваться с ними об этом, не переговорив сперва с тобой, царевна, и не испросив твоего согласия.

– Я сказала, князь Василий, что против твоей воли я их удерживать не стану: хоть завтра же выдай им заграничные паспорта или посольские грамоты. В самом деле, так будет лучше, – прибавила царевна, с грустью глядя на сыновей князя Василия Васильевича.

Обед подходил к концу. В то время как, подав десерт, состоявший из фруктов, кофе и ликеров, главный стольник вышел и затворил за собой дверь, дверь эта отворилась опять, и в комнату вошел новый, незванный гость.

То был царь Петр Алексеевич.

Увидев несколько чужих лиц там, где он думал встретить только брата и сестру, Петр смутился и молча остановился у двери. Все встали, увидев государя; одна София Алексеевна, немножко побледнев, осталась на своем месте и, окинув брата взглядом, не скрывавшим неудовольствия.

– Откуда ты так поздно или так рано, братец? – спросила она.

Преодолевая робость, столь естественную в семнадцатилетнем юноше, Петр нетвердым шагом подошел к сестре и, слегка наклонив перед ней голову, подал руку стоявшему около ее кресла князю Василию Васильевичу.

– Я прямо из Преображенского, с учения, – отвечал он царевне, – приехал переговорить с братом и с тобой об одном очень важном деле.

И, сев около сестры, на место маленького Миши, царь знаком пригласил всех стоявших гостей занять оставленные ими места.

Все сели.

– Государь обедает нынче в Вознесенском монастыре у тетушки схимонахини Анфисы<sup>3</sup>, – сказала царевна, – и, вероятно, пробудет у нее весь вечер. Завтра ее именины, и, не любя пиров, государь хочет поздравить ее с вечера. Но если твое важное дело не непременно требует присутствия государя, то я готова выслушать тебя хоть сейчас же. Говори.

– Теперь не время, сестрица, после обеда.

– Мы отобедали, сейчас кончим десерт и останемся вдвоем, если ты этого желаешь. Князю Василию тоже нельзя присутствовать при нашей беседе?

– Князь Василий Васильевич может присутствовать при всякой беседе, касающейся блага государства, – отвечал Петр. – Да и дело мое совсем не тайное: я приехал жаловаться брату и тебе, царевна, на Щегловитова и на его стрельцов: дня не проходит, чтобы они не затеяли ссоры и даже драки с моими преображенцами. Щегловитов или не умеет, или не хочет унять их. Они ничего не боятся и открыто говорят, что знают только своего начальника. Долго ли, князь Василий Васильевич, должен я терпеть оскорбления и угрозы этих янычар? – повернулся царь к князю Василию.

– Ты знаешь, братец, – отвечала царевна, – что я никогда не потакала им; всякая их вина была строго наказана, и Щегловитов мне ничуть не дороже других стрелецких начальников. Если он виноват, то должен быть наказан; но уличи его на деле и накажи за вину, а не по наговору твоих потешных озорников... До сих пор, сколько мне известно, Щегловитов предан и государю, и мне, и даже тебе...

Будучи почти пятнадцатью годами старше брата, царевна привыкла обращаться с ним как с ребенком, и хотя она и имела много случаев убедиться, что влияние ее на Петра становилось с каждым днем слабее и что вообще такой ребенок, как Петр, не может долго оставаться под ее опекой, однако ж она охотно щеголяла мнимой своей над ним властью и при людях обращалась с ним не как с государем, равным правами с Иоанном Алексеевичем, а как с мальчиком, на которого она, старшая сестра и соправительница государством, имела права неотъ-

---

<sup>3</sup> Царевна Анна Михайловна, сестра царя Алексея Михайловича, при пострижении наречена была Анфисой.

емлемые. Она, например, никогда не называла преобразенцев и семеновцев иначе как пьяницами или озорниками. Самого Петра звала или братцем, или Петром Алексеевичем, между тем как, говоря об Иоанне, она всегда называла его государем, а в присутствии Петра, как будто ему в обиду, она особенно отчетливо подчеркивала слово «государь».

Петр или не замечал этих обид, или считал их маловажными, и равнодушие это, конечно, не улучшало отношений между братом и сестрой.

Когда царевна сказала, что, несмотря на наговоры потешных озорников, Щегловитов предан и государю, и ей, и *даже* ему, Петру, она надеялась отвлечь гнев Петра от Щегловитова на слово *даже*.

– Хороша преданность! – отвечал Петр. – Я посылал за ним два раза, и его не могли найти. Если б он был не виноват, то не прятался бы.

– Государь, – сказал князь Василий Васильевич, – если Щегловитов прогневил тебя, то прикажи мне, и завтра ж он будет отыскан и выдан тебе головою. Но он популярен, если ты хочешь послушаться моей опытности, то не спеши вооружать стрельцов против правительства: ты сам назвал их янычарами; а давно ли янычары свергли с престола Магомета<sup>4</sup> за то, что он слишком круто начал унимать их?

– Слабые, нерешительные правительства всегда так кончают, – отвечал Петр. – Зачем идти нам так далеко и искать примеры в Турции? У нас на глазах стрельцы поднимали на пики и разрывали на куски Долгоруких, Нарышкиных, Матвеевых, Салтыковых и большую часть преданных нам бояр. И как были они наказаны за свои неистовства? Никак. Правительство, не считая себя довольно сильным, чтоб наказать бунтовщиков, поощрило их к новым бунтам и теперь...

– А разве Хованские не были наказаны? – прервала царевна, подавая Петру чашку только что вскипевшего кофе и наливая ему стакан гюльвейна<sup>5</sup>. – Разве главных сообщников их не казнили? Тебе было всего десять лет в тот памятный для меня день, когда в Воздвиженском были вывешены сорок голов стрелецких. Ты этого не помнишь, братец.

– Нет, царевна, и мне памятен день этот, день твоих именин. Казнь мятежного Тараруя<sup>6</sup> и невинного сына его, князя Андрея, была новая ошибка слабого правительства: Хованские, Одинцов и их сообщники были не казнены, а убиты изменнически в то время, как, по приглашению твоему, они ехали к тебе на именины – мириться... правда ли это, князь Василий Васильевич? – прибавил Петр, видя, что сестра его с гневом хочет возражать ему.

– К несчастью, правда, государь, – отвечал князь Василий Васильевич, – к несчастью, царевна слишком поздно убедилась, что Хованских надо было судить, а не приглашать на именины...

– Если они заслуживали казни, – прервала царевна, – то не все ли равно, как они были казнены? Время было дорого, а арестовать начальника стрельцов среди преданного ему войска было нелегко.

– Нелегко, но необходимо, – сказал Петр. – Не сердись на меня, сестра: дело прошлое, и его не воротить; но да послужит оно нам уроком в теперешних обстоятельствах. Ведь умел же князь Василий Васильевич, когда ты поставила его во главе министерства, умел же он и судить, и казнить, и ссылать мятежных стрельцов. А теперь, в отсутствие его, Щегловитов опять распустил их... Да что Щегловитов?.. Хочешь ли знать, царевна, какие слухи ходят по Преображенскому? Говорят, что Щегловитов по твоему приказанию должен арестовать меня...

– И ты веришь?..

---

<sup>4</sup> Султан Магомет IV был низвержен в 1687 г.

<sup>5</sup> Немецкий напиток: горячее вино.

<sup>6</sup> Прозвище князя Ивана Андреевича Хованского, убитого вместе с сыном своим, по приказанию царевны Софьи Алексеевны, 17 сентября 1682 г.

– Если б верил, – отвечал царь, – то не говорил бы с тобой об этом; если б верил, то не приехал бы к тебе без стражи; если б верил... то я не пил бы ни этого кофею, ни этого вина.

Сказав это, Петр допил и то и другое.

– Итак, – продолжал Петр, обращаясь к князю Василию Васильевичу, – завтра, по обещанию твоему, я буду ожидать к себе Федора Леонтьевича<sup>7</sup>. Скажи ему, что он найдет во мне судью беспристрастного и что я первый порадуюсь, если он оправдается. Пусть он сам накажет зачинщиков в буйстве с преображенцами; пусть объяснит причину слуха о готовящейся мне засаде, и больше я ничего не потребую.

– Завтра, говоришь ты, – сказала царевна, – разве ты завтра не будешь на именинах у тетушки?

– Буду; но я у нее не засижусь: у меня множество дел в Преображенском...

Оживляемая винами и ликерами, беседа становилась все более и более дружелюбной со стороны Петра, все менее и менее враждебной со стороны царевны, помнившей законы гостеприимства и видевшей в Петре уже не ненавистного ей соперника во власти, а гостя, доверчиво разделяющего с ней трапезу. Петр с участием осведомился о болезни князя Михаила Васильевича, подробно расспрашивал его о Каспийском море, на котором он служил, и радовался, что он оставил вредную для его здоровья морскую службу. Еще подробнее расспрашивал Петр князя Алексея Васильевича о вверенном ему наместничестве; предсказывал блестящую будущность этому краю, орошаемому Уралом и Камой и обильному железными, а может быть, и золотыми рудами. Маленького Мишу, долго смотревшего на царя с особенным страхом, он ободрил, приласкал и спросил у его матери, где и чему он учится?

Услышав, что Мишу помещают в Сорбонну, Петр заметил, что предпочел бы ей любую школу в Германии, что Сорбонны он не любит за ее вредное, иезуитское направление.

– Извини меня, князь Василий Васильевич, – прибавил царь с улыбкой, – я было совсем забыл, что ты очень любишь иезуитов и покровительствуешь им, а я, признаюсь, терпеть их не могу.

– На них всегда и везде много клеветали, государь, а в твоём лагере – больше, чем где бы то ни было, – тоже с улыбкой отвечал князь Василий Васильевич. – Гордон, Брюс, Лефорт и прочие иностранцы, служащие в Преображенском и Семеновском, в лице Летеллье<sup>8</sup> ненавидят всех иезуитов, приписывая им несчастья своих единоверцев.

– Учат-то в Сорбонне очень хорошо, я это знаю, – сказал Петр, – но страсть папистов обращать в свою веру всех попадающих им в руки, ссорить во имя религии мужей с женами и отцов с детьми; не признавать, вне папизма, возможности спасения души и спасти души огнем, мечом и пытками – все это отвратительно даже в Испании и еще отвратительнее во Франции, где царствовал Генрих Четвертый и где был первым министром великий Ришелье... Впрочем, Миша, я надеюсь, будет отдан в хорошие руки, которые сумеют удержать его на пути истинном.

– Еще не решено, с кем он поедет, государь, – отвечал отец Миши. – Брат мой болен и должен лечиться в Москве; мне нельзя надолго отлучаться из своего наместничества...

– Ну, с кем бы ты ни поехал, Миша, – прервал Петр, – перед отъездом приезжай проститься со мной и привози мне своего ментора... – И, повернувшись к Софье, сказал: – Прощай, сестра, благодарю за хлеб-соль и прошу не поминать меня лихом... А о Щегловитове, пожалуйста, не забудь, – прибавил Петр провожавшему его до двери князю Василию Васильевичу.

По отъезде царя беседа продолжалась вяло: царевне хотелось бы поговорить и о неудовольствии Петра на стрельцов, и об опасности, грозящей Щегловитову, и о средствах отвратить

---

<sup>7</sup> Щегловитова.

<sup>8</sup> Последний духовник Людовика XIV и главный виновник религиозных преследований во Франции.

эту опасность; но стесняемый присутствием ребенка разговор не клеился. Заметив это, княгиня Мария Исаевна, мало интересовавшаяся распрей стрельцов с преображенцами, откланялась царевне и объявила, что едет покататься с сыном в Сокольники.

Царевна проводила их, еще раз поцеловала Мишу, иронически поздравляя с победой, одержанной им над царем и величая его будущим фельдмаршалом Преображенского войска. Возвращаясь к своему месту, она остановилась у окна, полила стоявшую на нем герань и поставила лейку на окно.

Эта лейка была сигналом, условленным между царевной и Щегловитовым: не видя ее на окне, он должен был скрываться, поставленная около герани, лейка означала, что Щегловитов может прийти к царевне, не опасаясь неприятных встреч.

– На чем же мы теперь остановимся, господа? – спросила царевна.

– Мне пришла новая мысль, – сказал князь Михаил Васильевич. – Можно будет отправить Мишу за границу с Серафимой Ивановной Квашниной. Она охотно возьмется...

– Да, но я бы неохотно поручил ей своего сына, – возразил князь Алексей. – Она такая взбалмошная...

– Я не о Мише и не о Квашниной говорю, а о Щегловитове, – прервала царевна. – Что нам с ним делать, князь Василий?

– По моему мнению, завтра все уладится как нельзя лучше, – отвечал князь Василий Васильевич. – Я очень надеюсь на поездку Щегловитова в Преображенское; виновных в драке с преображенцами я сошлю в пограничную стражу, и царь Петр Алексеевич успокоится.

– И ты думаешь, князь Василий, что Щегловитов поедет завтра к Петру?

– Да как же ему не ехать, если Петр ожидает его? Сейчас же велю его отыскать, передам ему приказание государя и...

– Отыскивать Щегловитова не нужно, – возразила царевна, кинув беглый взгляд на герань, – он сам отыщется и, вероятно, скоро будет здесь.

Действительно, Щегловитов тут же показался в двери, до которой за несколько перед тем минут царевна проводила княгиню Марию Исаевну.

Красивый, стройный, очень высокого роста, с большими черными глазами и русыми волосами, вьющимися крупными локонами, Щегловитов молодцевато прошел мимо царевны и, не замечая ее, низко поклонился князю Василию Васильевичу и сыновьям его.

– Так ты нынче уже видел царевну, Федор Леонтьевич, – спросил у него князь Михаил Васильевич, удивленный, что человек, пропадавший два дня сряду, входит в комнату и не кланяется хозяйке дома.

– Да, – отвечал Щегловитов, – царевна давеча присылала за мной, и мы все утро пересматривали эти бумаги. – Он показал на бумаги, распечатанные перед самым обедом князем Василием Васильевичем.

Управление Стрелецким приказом, всегда очень сложное, усложнилось с некоторых пор перепиской с пограничной стражей и с полками, возвращавшимися из Крыма. Поэтому не было ничего удивительного, что правительница рассматривала с начальником стрельцов бумаги, касавшиеся стрелецкого войска. Сыновьям князя Василия, которые в это время откланялись царевне, ответ Щегловитова показался таким естественным, что, не удерживаемые царевной, они вышли из комнаты.

Но как ни прост был ответ этот, князь Василий Васильевич был приведен им в такой ужас, что если б не стояло за ним кресла, то он упал бы на пол. Он страшно побледнел; колени его задрожали, как в лихорадке; глаза выпучились, налились кровью и стали бессмысленно глядеть то на Щегловитова, то на царевну.

Самый умный мужчина, самый тонкий дипломат, самый опытный волокита будет в затруднении, встретясь неожиданно с двумя любящими его женщинами, которые сейчас только догадались, что они соперницы: страх оскорбить одну из них, или потерять другую, или выдер-

жать сцены от обеих парализует его умственные способности и отнимет у него необходимое в подобных делах присутствие духа.

Женщины же никогда не теряются; напротив того: чем затруднительнее положение, тем, говорят, более подстрекается их самолюбие, тем более поощряются их дипломатические дарования. Так, опытный полководец, не обращая большого внимания на аванпостные стычки, бережет все силы свои и все искусство для решительного, генерального сражения.

Увидев действие, произведенное на князя Василия Васильевича ответом Щегловитова, царевна не могла не встревожиться: человек, так давно и так искренно ее любящий, человек, столь нужный для ее честолюбия, поражен ударом и, может быть, умирает без помощи у нее на глазах... Первая ее мысль была воротить сыновей его и оказать ему помощь. Но, боясь огласки и, кроме того, стесняемая присутствием Щегловитова, она не обнаружила ни малейшего испуга, ни малейшего беспокойства и обратилась к Щегловитову.

– Я давно и с нетерпением ожидала тебя, Федор Леонтьевич, – сказала она ледяным, противоречащим смыслу этих слов тоном. – Государь Петр Алексеевич сейчас был здесь, спрашивал о тебе и велел, чтоб ты завтра утром явился к нему.

Щегловитов стоял как вкопанный, левой рукой придерживая осыпанную камнями рукоять своей шпаги; он, очевидно, недоумевал, чем он провинился перед царевной; он, верно, не знал, что на суде женщины прав тот, кто ей угодил; виноват тот, кто прогневил ее. Приписывая холодность царевны присутствию князя Василия Васильевича, Щегловитов принял развязно-почтительную позу военного человека и отвечал глубоким басом:

– Что ж! Завтра я свободен все утро и съезжу к Петру Алексеевичу.

В эту минуту царевна искренно ненавидела стоявшего перед ней удальца: и красивое лицо его, и кудрявая голова, и развязная стойка, и молодцеватый, подбочененный стан – все казалось ей отвратительным.

– Когда государь приказывает, – возразила царевна дрожавшим от сдержанного гнева голосом, – то вопрос не в том, есть ли у тебя лишнее время: твой долг завтра чуть свет ехать в Преображенское, дожидаться там возвращения государя и дать ему отчет в поведении стрельцов. Кстати: нынче же, сейчас же разыщи виноватых в последних драках с потешными и строго накажи их... Ступай!

Щегловитов понимал все менее и менее и пристально глядел в глаза царевны, как будто ожидая, что они ему подмигнут. До сих пор царевна очень снисходительно смотрела на распри стрельцов с преображенцами и семеновцами, всегда обвиняла в этих расправах потешных и часто, тайно, награждала стрельцов.

«Чему ж приписать внезапную ее строгость, – думал Щегловитов, – разумеется, присутствию строгого министра, – решил он...» Видя, что глаза царевны не подмигивают, Щегловитов продолжал стоять в нерешительности. Он собирался было спросить, не прикажет ли ему царевна побывать перед отъездом в Преображенском, но, вспомнив, что на этот вопрос он получит ответ от лейки, молча поклонился и, проходя мимо лейки, многозначительно взглянул на нее и вышел.

Как только затворилась дверь и стук скоро отдаляющихся шагов утих, царевна подбежала к окну и, сняв с него лейку, с досадой поставила или, вернее сказать, бросила ее на пол. Успокоенная насчет возможности возвращения Щегловитова, она подошла к князю Василию Васильевичу и взяла его за руку.

– Ах, извини меня, царевна, – сказал он ей, вставая, – я, кажется, вздремнул: этот глювейн и эти ликеры так крепки, и я так отяжелел после обеда... а где мои сыновья?

Царевна не верила глазам своим: перед ней стоял не умирающий паралитик, как она этого ожидала, а крепкий, бодрый, посвежевший от отдыха мужчина с ясными глазами и добродушной улыбкой.

– Как где твои сыновья? Разве ты не видал, что они ушли? Разве ты не слышал, что здесь был...

– Федор Леонтьевич? Как же, слышал; вы о чем-то говорили. Куда ж он девался?

– Он тоже ушел... давно ушел, – отвечала царица. – Завтра он поедет к Петру Алексеевичу, – я приказала ему.

– И отлично. Я говорил, что завтра все уладится. Петр Алексеевич был нынче с тобой очень любезен и завтра, верно, не захочет сделать тебе неприятность... лишь бы наш удалой стрелец опять как-нибудь не напроказил...

Все это было сказано так просто и таким спокойным голосом, что царица мгновенно оправилась от взволновавшей ее тревоги. Ей только казалось странным, как она, со своей опытностью, могла принять послеобеденную дремоту уставшего старика за ревнивый припадок влюбленного.

«Правда, – думала она, – погода пасмурная, скоро восемь часов, смеркается уже... и если б он был в опасности, то сыновья его заметили бы это и не ушли бы...»

Слуга внес большой бронзовый канделябр с шестью восковыми свечами и, поставив его на стол, начал зажигать свечи. Царица предложила своему министру опять заняться бумагами; но он, уставший от утренней работы и от обеда, как выразился он, попросил у царицы позволения удалиться и, почтительно поклонившись, тихими и плавными шагами пошел к двери.

«Какая разница, – думала царица, – между этой благородной походкой и шагистикой вприпрыжку того противного капрала! И где у меня были глаза?...»

Проходя около герани, князь Василий Васильевич остановился и понюхал ее. Потом поднял с пола преграждавшую ему дорогу лейку, вылил на герань оставшиеся в ней капли и, поставив лейку на окно, прежним тихим и спокойным шагом вышел из комнаты.

– Возьми эту гадкую... эту пустую лейку, – закричала царица уходившему слуге, – и скажи садовнику, чтоб ее здесь никогда не было.

Слуга поспешно унес лейку, удивляясь такому беспорядку и собираясь хорошенько пожурить дежурного садовника за его оплошность.

А царица закрыла лицо руками и упала на кресло, на котором перед тем сидел князь Василий.

– Погибла! Навсегда погибла! – вскрикнула она и горько, горько заплакала.

## Глава II

### Помещица XVII столетия

Двадцатилетний юноша готов застрелиться от неверности женщины, даже если он не совсем убежден в ее неверности. Он зрело обдумает план свой удивить *неверную* или насолить ей. Перед смертью он напишет письмо на четырех страницах: на первых трех сообщит *неверной*, что он один во всем мире умел любить как следует, а на четвертой докажет, как дважды два четыре, что она всю свою жизнь должна оплакивать такого необыкновенного человека.

Тридцатилетний несчастный любовник тоже иногда стреляется; но чаще он предпочитает застрелить или хотя бы подстрелить своего соперника, а иногда и ее, *коварную*. Себя же он застрелит не иначе как сгоряча и непременно у ног *коварной*. Письма перед смертью он ей не напишет, а если начнет писать, то раздумает стреляться.

Не застрахован от душевных волнений и сорокалетний волокита; но он не поддается им, как хорошо обстрелянный воин не кланяется свищущим около него пулям. Любовные его невзгоды имеют развязки самые естественные: или у него начнет сесть борода, или пропадет сон, или испортится аппетит. Средства к излечению у него тоже незатейливые: жестокую свою красавицу он в глаза или письменно назовет кокеткой (полагая, что без него она этого не знала); потом недельки на две удалится от нее; выкрасит или сбреет себе бороду; от бессонницы примет порошок с опиумом; для восстановления аппетита выпьет лишнюю рюмку настойки и, радикально вылеченный, дерзает на новые пули.

В пятьдесят лет любовь... любовь в пятьдесят лет... Но слова эти так смешно, так неуклюже ладятся между собой, так враждебно смотрят друг на друга, что, не умея примирить их, переходим, без дальнейших отступлений, к продолжению нашего рассказа.

Желая избежать вопросов своего семейства о бледности, о дурном расположении духа, князь Василий Васильевич Голицын, возвратясь домой, сказался очень усталым и прошел прямо на свою половину. Много грустных, несносно тяжелых мыслей перебродило у него в голове в эту бессонную ночь, однако на следующее утро, 25 июля, в день именин схимонахини Анфисы, он встал по обыкновению, оделся раньше обыкновенного и поехал в Вознесенский монастырь.

После обедни он поздравил именинницу, обеих цариц<sup>9</sup>, царя Петра Алексеевича и царевну Софию Алексеевну. За трапезой в келье именинницы он был весел и разговорчив, как следует быть на пиру. И никому, кроме царевны, не было нужды догадываться, сколько горя, сколько грусти скрывалось под этой веселой оболочкой; в смеющихся сквозь слезы глазах этих она одна могла прочесть и сожаление о потерянном счастье, и безутешную скорбь разочарованной души, и отсутствие всякой надежды на будущее. Она видела, что оскорбленное самолюбие этого человека пренебрежет, конечно, мщением оскорбившей его женщине, но что оно не может простить ей, – не может позабыть ее оскорбление.

Обе царицы остались у схимонахини Анфисы на целый день. Царевне Софье Алексеевне тоже не было особенных причин спешить домой. А царь Петр Алексеевич, еще перед началом трапезы объявивший, что ему долго пировать некогда и что его ждет в Преображенском очень спешное дело, встал немедленно по окончании трапезы и, прощаясь со своей теткой и ее гостями, пригласил князя Василия Васильевича ехать с собой.

– Не в службу, а в дружбу, – сказал царь, – свою карету отошли, и поедем в моей: мне о многом надо переговорить с тобой; кстати, ты поможешь мне расправиться со Щегловитовым.

---

<sup>9</sup> Параскеву Федоровну, рожденную Салтыкову, супругу Иоанна Алексеевича, и Евдокию Федоровну, рожденную Лопухину, супругу Петра.

– Щегловитов, – продолжал Петр Алексеевич по пути к Преображенскому, – может быть, прекрасный, преблестящий офицер; но он слишком ограничен, чтоб быть хорошим начальником так дурно дисциплинированного войска. Как думаешь, князь Василий Васильевич, очень дорожит Щегловитовым государь Иоанн Алексеевич?

– Мое мнение, как и вчера говорил я тебе, государь, – отвечал князь Василий, – не спешить сменять Щегловитова. Были умные и бойкие стрелецкие начальники; но с ними управляться было еще мудренее. Щегловитов нынче будет у тебя с повинной; может быть, он еще и не так виноват, как кажется... Что это такое? – сказал князь Василий, видя, что карета вдруг остановилась и что несколько стрельцов показались в дверцах. – Это ты, Стрижов?

Стрижов был один из лучших офицеров стрелецкого войска и один из преданнейших царевне Софье Алексеевне. Увидев князя Василия Васильевича, которого он никак не ожидал видеть в карете царя, он подал знак сопровождавшим его стрельцам, чтобы они отъехали от кареты.

– Это я, – отвечал Стрижов, видимо смущенный неожиданной встречей, – мы здесь на страже; никого не пропускаем, не осмотрев, кто едет... Ступай! – крикнул он кучеру.

– Постой! – крикнул Петр. – Что значат эти предосторожности и против кого они? – спросил он у Стрижова.

– Не могу знать: мне так приказано, государь.

– А где Щегловитов?

Щегловитов бодро подскочил к карете на донском саврасом жеребце и, держа руку под козырек (хотя на нем была шапка без козырька), объяснил царю, что велел осматривать едущих в село Преображенское для того, чтобы предупредить новые стычки стрельцов с потешными.

– Видишь, князь Василий Васильевич, что он какой-то полоумный, – сказал Петр, когда Щегловитов отъехал от кареты. – Ну где видано, чтобы в мирное время войска останавливали проезжих на дороге? Таким распоряжением не только не предупредишь драки, а затеешь двадцать новых... А молодец собой, нечего сказать! И как он ловко держит руку у шапки!.. Это он у поляков выучился.

Согласно предсказанию князя Василия Васильевича, в Преображенском все уладилось, и царь Петр Алексеевич успокоился. Щегловитов остался начальником Стрелецкого приказа, обещав Петру принять самые строгие меры для искоренения в стрельцах духа буйств и непослушания. Виновных в последних драках с потешными переписали поименно и назначили иных в ссылку в Сибирь, других – к переводу в астраханскую стражу.

Прощаясь с царем, князь Василий Васильевич сказал ему, что желал бы, по расстроенному здоровью, съездить отдохнуть в деревню; что царь Иоанн и царевна сами советуют ему полечиться и он надеется, что и царь Петр Алексеевич не откажет ему в нескольких неделях отдыха.

– Разумеется, тебе надо отдохнуть и серьезно заняться твоим здоровьем: ты что-то бледен, что-то расстроен; уж не лихорадку ли схватил в Крыму? С ней шутить нельзя... Если успеешь, то побывай перед отъездом у меня; вот хоть завтра: мы делаем большие маневры в Семеновском.

На другой день, отправив семейство в подмосковное свое село Медведково и простившись на официальных аудиенциях с царем Иоанном и царевной-соправительницей, князь Василий Васильевич поехал с внуком Мишей в село Семеновское, на маневры царя Петра Алексеевича.

Сотня с небольшим царских потешных, разделенных на два неравных числом отряда, стреляла непрерывными залпами. Один из отрядов, человек в шестьдесят пять или в семьдесят, стройно и не торопясь, шел при барабанном бое к окруженному холму, с которого кроме ружейных выстрелов раздавалась пальба из двух маленьких орудий. Князь Василий Васильевич по возможности объяснял внуку задачу военных маневров. Многие из действовавших в

сражении лиц были знакомы Мише. В начальнике защищающегося на холме гарнизона он узнал князя Аникиту Ивановича Репнина. Атакующим отрядом предводительствовал князь Федор Юрьевич Ромодановский, которого Петр считал таким гениальным полководцем, что прозвал его кесарем и на всяком учении, как подчиненный, рапортовал ему о состоянии войска.

Мише маневры очень понравились. Сначала он при каждом выстреле из пушки вздрагивал; но дедушка успокоил его, заметив, что никто не падает, а если кто иногда и спотыкнется, то не от пушки, а от торопливости и от неосторожности. Неистовые крики атакующих тоже не пугали Мишу: он рассудил, что если так делают, то, значит, нужно так делать; а если б не нужно было, то дедушка сказал бы им, чтоб они не шалили; дедушка же не говорил ничего, хотя и казался удивленным.

И кто бы не удивился, глядя на ребячьи шалости Петра? Кто, кроме этого ребенка, мог угадать, что его игра в солдатики даст России таких солдатиков, которые одолеют всех своих соседей и отразят соединенные против нее силы всей Европы?..

Маневры подходили к концу. Гарнизон бегом спускался с холма, отступая группами к близлежащему лесу. Атакующие карабкались поодиночке на холм, на котором Миша в одну минуту мог насчитать до двадцати человек. Эти двадцать человек дружно подхватили одну из пушек, перенесли ее на другое место и начали палить по направлению к нему, Мише. Начальник ушедшего с холма гарнизона стал очень громко кричать, и из одной группы вдруг сделалось шесть или семь маленьких: к ним, откуда ни возьмись, подскакали верховые с длинными пиками и в блестящих касках; нескольких солдат из разрозненных маленьких групп они окружили и отняли у них ружья. Другие группы добежали до леса и скрылись за деревьями, из-за которых показались дымки и раздалась выстрелы. Верховые поскакали за ними, но, доехав до опушки леса и услышав бой барабана, поспешно возвратились, и *кесарь* с торжествующим лицом подъехал к барабанщику.

Барабанщик этот был царь Петр Алексеевич.

Известно, что, во избежание или для прекращения распрей между своими спесивыми сослуживцами, Петр, записавшись в службу рядовым, получал чины за отличие. Таким образом, к концу 1688 года он был уже барабанщиком, – чин, который, надо полагать, был тогда в большем почете, чем теперь.

Петр принял князя Василия Васильевича так же радушно, как и в предыдущие дни. Он опять обласкал Мишу и, видя сияющее от восхищения лицо его, спросил, не хочет ли и он поступить на военную службу. Миша очень обрадовался предложению царя, полагая, что на него сейчас же наденут мундир и длинные сапоги, которые ему в особенности нравились. Но царь, похвалив его за усердие, сказал, что он еще слишком молод и что прежде надо ему кое-чему поучиться.

– Ступай в свою Сорбонну, – прибавил он, – и учись, главное, математике; там ей хорошо учат; а с математикой всем военным наукам легко научишься и будешь таким солдатом, какие мне надо. Покуда я запишу тебя рядовым в Семеновский полк... С кем он едет? – спросил Петр у князя Василия Васильевича.

– До Тулы я везу его сам, – отвечал князь Василий Васильевич, – а там я сдам его с рук на руки родственнице жены моей, Квашниной. От Тулы с ними поедет до самого Парижа доктор Чальдини, а до границы проводит их фельдъегерь.

Пообедав у царя, князь Василий Васильевич в тот же вечер уехал в Медведково с твердым намерением мало-помалу удалиться от двора. Оставаться дольше при кремлевском дворе он не мог: его свидания с царевной, свидания, тягостные для него, были бы и для нее совершенно бесполезны, даже в политическом отношении: примирив царя Петра со Щегловитовым и, следовательно, с царевной, князь Василий Васильевич удалялся от нее, не боясь никаких с ее стороны упреков. Конечно, он не считал этого мира довольно искренним со стороны царевны,

чтобы надеяться на прочность его; но помогать интригам ненужной соправительницы против законного государя ему, князю Василию, всю жизнь работавшему, как он сказал сам, над объединением России, не было никакой причины. Междоусобия, на которые он с сокрушенным сердцем соглашался три дня тому назад, казались ему, при новых обстоятельствах, верхом безумия.

С другой стороны, пристать к партии Петра он не хотел, боясь общественного мнения: могли бы подумать, что он перешел в лагерь Петра не из политического убеждения, в которое никто не верит, а в надежде на выгоды, которых уже не предоставлял ему все более и более пустеющий лагерь царевны.

В Медведкове князь Василий Васильевич пробыл всего два дня: Серафима Ивановна Квашнина, двоюродная сестра княгини Марии Исаевны, как только узнала, что ей поручают везти Мишу за границу, прислала из-под Тулы в Медведково двух нарочных в один день с изъявлением своей готовности и просьбой доставить ей Мишу как можно скорее. «А то, – писала она, – начались осенние дожди, и мы, пожалуй, не доедем». Чальдини, домовый врач Голицыных, торопился не менее Квашниной. Князю Василию Васильевичу тоже незачем было медлить.

На станциях задержки в лошадях быть не могло, хотя они и не готовились заранее: сидевший на козлах фельдъегерь вселял начальникам станов и ямщикам такое уважение к своей особе, а князь Василий Васильевич так строго наблюдал, чтобы назначенные им на водку полтины отдавались исправно, что, несмотря ни на *осенние дожди*, ни на тяжесть четвероместного, немецкой работы дормеза, дормез этот пролетел сто восемьдесят пять верст в пятнадцать часов и подъехал к барскому дому в Квашнине в день именин хозяйки, 29 июля, перед обедом, около часа пополудни.

Серафима Ивановна, рассчитывавшая только на приезд Миши и Чальдини, переполошила всех своих гостей, увидев князя Василия Васильевича. Она не знала, куда деться от радости и как благодарить князя за делаемую ей и ее Квашнину честь. Она вообще очень уважала семейство Голицыных: двоюродную сестру свою, княгиню Марию Исаевну, она любила с детства (они были почти ровесницы). Мужа ее, князя Алексея, Серафима Ивановна обожала, как теперешние институтки обожают своих учителей. В князя Михаила Васильевича она была отчасти влюблена, тайно, но уже лет пять мечтая, что он на ней женится; а в князе Василии Васильевиче, в первом человеке в государстве, в лучшем советнике царей и царевны, как говорила она, видела бога, с которым она, *простая деревенская девушка, и говорить-то порядочно не умеет*.

– И он сам пожаловал ко мне в Квашнино, – говорила она, не стесняясь присутствия съехавшихся на именины соседей, – и это он сидит с нами за столом и кушает вино за мое здоровье?.. Да как мне благодарить его за такую милость!..

– Полно благодарить, Серафима Ивановна, – сказал князь Василий Васильевич, – не тебе меня благодарить, а мне тебя: вот тебе наш Миша; невестка поручает тебе его и надеется на тебя, как на лучшего своего друга; присмотри за ним на чужой стороне. Способности у него хорошие, и, если развить их, из него выйдет человек... С Чальдини ты знакома?

– Как же, батюшка князь, очень знакома. Ты, чай, помнишь меня, Осип Осипович? – спросила она у доктора.

– Очинь помнит, – отвечал Чальдини, – и теперь поедем вместе до Парижа.

Кроме итальянского и латинского языков, Чальдини не знал порядочно никакого; французский он знал еще хуже русского, и, кроме князя Василия Васильевича, объяснявшегося с ним на латыни, все русские знакомые Чальдини говорили с ним по-русски. Перспектива ехать три тысячи верст с человеком, с которым трудно объясняться, не очень улыбалась Серафиме Ивановне; но в эту минуту она заботилась совсем о другом: она недоумевала, прилично ли

будет посадить Чальдини за один стол с князем Василием Васильевичем и не лучше ли поесть ему пирожка стоя.

«Ведь мой больничный Вебер ест же стоя», – думала она. Князь Василий Васильевич сделал ей знак, который она поняла.

– Ну уж так и быть, садись Осип Осипович, только там, где-нибудь подальше, – сказала она, подавая итальянцу кусок курника, – чай, у себя в Италии ты таких пирогов и во сне не едал...

Князь Василий Васильевич прожил в Квашнине неделю с лишком. Чем больше узнавал он характер будущей спутницы своего внука, тем выбор этот казался ему удивительнее. Княгиня Мария Исаевна, а за ней многие другие говорили о Серафиме Ивановне, что она, правда, имеет свои странности; что она, например, очень вспыльчива, но что злой назвать ее нельзя. В доказательство, что она незлая, указывали на устроенную ею на двадцать кроватей больницу, в которой очень искусный врач-немец, получавший полтора ста рублей в год жалованья, лечил не только квашнинских, но и чужих крестьян; говорили, что в бывшее недавно в окрестностях поветрие перебивало в этой больнице до ста человек и что почти все они выздоровели. Скупой, по мнению иных соседей, ее тоже назвать нельзя, и это мнение, кроме известного ее хлебосольства, подтверждалось тем, что когда сгорела казенная деревня, то Квашнина на всякий погорелый двор отпустила по тридцать корней из своего леса и по четверти ржи из своего запасного магазина. Но рядом с подобными подвигами высшей христианской добродетели стояли в жизни Квашниной поступки грязнейшей скаредности и необыкновенной жестокости: многочисленная дворня ее постоянно кормилась пустыми щами при умеренном количестве ржаного хлеба; в воскресенье отпускалось по ложке гречневой каши на человека; в большие праздники пеклись пироги без начинки – кислые, полубелые пшеничники. В лавках Серафима Ивановна без стыда торговалась и бранилась с купцами из-за всякого гривенника; за разбитые стаканы, тарелки, чашки она взыскивала с дворни двойную стоимость разбитой вещи и, кроме того, за неосторожность била мужчин по щекам, а женщин таскала за косы.

За оброчную двухрублевую недоимку она отняла у крестьянина последнюю корову, которую продала за восемь рублей, и остальных шести рублей недоимщику не отдала, чтоб он их не пропил. За срубленную в ее лесу березу она продала соседу, нуждавшемуся в ратнике, единственного сына старика, укравшего ее березу, и ни мольбы старой матери, валявшейся у нее в ногах, ни клятвенные обещания молодого парня пополнить барский убыток и заслужить вину отца, – ничто не могло умолить *незлую* Серафиму Ивановну. С двумя не явившимися на барщину крестьянами она расправилась так, что прямо с места расправы их перевезли в больницу. Один из пациентов, несмотря на старания и искусство лекаря, зачах и умер через три недели; другой, не ожидая так долго, к следующему утру навеки избавился от *странностей* своей помещицы.

Не красна была жизнь крестьян квашнинских, но дворовые от души завидовали ей.

– Крестьянина, – говорили они друг другу на ухо, – наказывают, по крайней мере, только тогда, когда он провинится или, пожалуй, когда он попадет на глаза. А наш брат дворовый всегда на глазах, и как ты ни старайся, а от боярышнинного гнева не уйдешь: встаешь рано, ложишься поздно, работаешь много... вчера, например, кроил портной Ванька армяк; ну, известно, работа скучная, он и вздремни, а тут, как на грех, боярышня... и начала... восемь человек перебрали... спасибо, илиинский помещик подъехал...

Читателю, может быть, любопытно узнать, каким образом случалось, что за вину одного человека наказывалось восемь. Вот каким: виноватому назначалось, положим, сто ударов (для мужчин это было минимум); получив их, он вставал, целовал ручку у барышни и уходил; иногда его подносили к ручке и уносили. Этим, кажется, и могло бы кончиться дело. Но во время наказания Серафима Ивановна заметила, что исполнитель правосудия потакал провинившемуся, то есть что он бил его не изо всех сил, а что считавший удары обсчитался на два или

на три удара. Вот еще два виноватых. За ними, следовательно, еще четыре, и таким образом перебиралась вся дворня поголовно, если приезд какого-нибудь соседа не прекращал экзекуции, то есть не откладывал ее до следующего дня.

Законодатели всех стран и всех времен полагали, что правительства, распоряжаясь и наградами и наказаниями, имеют в них два могучих рычага для приведения в действие страстей человеческих, два всемогущих средства для удержания людей в повиновении законам. Казалось бы, что действительно надежда на награды и страх наказаний или, иначе, любовь человека к наслаждениям и отвращение его от физической боли должны быть основанием всякого разумного кодекса. Но Серафима Ивановна с теорией законодателей соглашалась только наполовину: для удержания людей в должном порядке она находила надежду на награды совершенно лишней и страх наказания вполне достаточным. Зато и порядок в Квашнине! Ни малейшего ропота не дойдет до Серафимы Ивановны; лишнего слова не услышит она; взгляда неприятного не увидит от управляемого ею народа!

В таком же духе, хотя и с некоторыми особенностями, распоряжалась Серафима Ивановна с дворовыми женского пола. Вообще всякое наказание начиналось у нее розгами, как всякое гомеопатическое лечение начинается, говорят, аконитом; но так как эта общеизвестная мера исправления казалась Серафиме Ивановне слишком однообразной, то она видоизменяла ее и придумывала иногда такие оригинальные, такие юмористические наказания, что соседи, слушая о них рассказы, помиралы со смеху.

Прачка, например, из озорства и с целью простудить помещицу, принесла из стирки плохо высушенные рубашки. За это озорницу высекли и в одной рубашке, облив ее водой, заперли на ночь в ледник. Пускай, мол, попробует на себе, каково сидеть в мокрой рубашке.

Маленькая двенадцатилетняя кружевница, из озорства и с целью ввести помещицу в убыток, разорвала нитки на коклюшках и связала их так, что узлы на кружевах были заметны. За это, после аконита, Серафима Ивановна поставила озорницу на ночь на колени, положив перед ней подушку с коклюшками, задав ей урок и привязав ей голову ниточкой к стене. «Беда твоя, если нитка оборвется», – сказала Серафима Ивановна. Девочка часа два крепилась, плетя кружево и держа голову как только могла прямее; но от дремоты ли или от боли в коленях голова покачнулась, нитка не выдержала, и... точно, вышла беда для кружевницы.

Горничная Анисья, хорошенькая, быстроглазая, лет двадцати пяти женщина, недавно взятая с дочерью своей из деревни ко двору, из озорства и с целью осрамить помещицу, подала ей в Страстную субботу к обедне черный сарафан, весь облитый воском. Его закапали ночью во время хождения со свечами вокруг церкви, а так как Анисья говела и за ранней обедней причащалась, то она и не успела заняться сарафаном. За это озорницу, *свеженькую*, то есть еще никогда не сеченную, для первого раза Серафима Ивановна высекла собственноручно; потом велела растопить воск в кастрюльке и, немножко остудив его, вымазала им длинные косы Анисьи. Когда воск на голове окреп, Серафима Ивановна велела Анютке, девятилетней дочери Анисьи, вычистить своей матери голову, предупредив их обеих, что если через полчаса останется в волосах хоть одна вошинка, то она отдерет Анютку еще больше, чем отодрала Аниську. Несчастливая мать умоляла Серафиму Ивановну лучше высечь еще раз ее.

– Я, ей-богу, думала, – говорила она, – что к обедне ты изволишь надеть синий сарафан.

– Врешь, негодница, – отвечала Серафима Ивановна. – Бусурманка я, что ли, чтоб в такие дни цветные сарафаны носить!..

– Ради Христа, – продолжала Анисья, – хоть для такого дня пощади Анютку, ведь она не виновата; прикажи мне лучше обрить голову...

– Молчать, мерзкая! Вздумала учить меня, кто прав, кто виноват!.. Я те покажу, как глаза тарашить да зубы скалить!..

Нечего было делать: Анюта принялась за работу, и как ни торопила ее мать, как ни уговаривала ее рвать волосы, не разбирая, где воск и где его нет, как ни уверяла, что ей совсем

не больно, как ни помогала сама дочери, а к сроку работа не была окончена, и Анисья, обезображенная лысынами и побагровевшая от боли, к довершению всего должна была смотреть, как ее Аня металась под неистовыми ударами Серафимы Ивановны. С тех пор (вот уже два года) девочка не может поправиться и перестала расти.

Другая горничная Серафимы Ивановны, Сусанна... Но отвернемся наконец от этих гнусных, от этих отвратительных картин, нужных, к сожалению, для связи нашего рассказа, и возвратимся к князю Василию Васильевичу, которого квашнинская помещица продолжает чествовать и благодарить, как в первый день его приезда. С Мишей она обращается чрезвычайно мягко: дарит ему и жестяных казачков, и чайные приборы; лакомит его изюмом, яблоками, огурцами с медом.

Если дедушка за какую-нибудь шалость побранит его, то она же заступится. «Не беда, – говорит, – что ребенок резвится, что он разорвал куртку или заехал верхом во фруктовый сад и помял молодые яблони. Ребенок должен резвиться; оттого он и растет; но, главное, надобно, чтоб он рос в правде Божией и боялся не шалить, а лгать».

– Ты у меня, Мишенька, хоть мою бетихеровскую<sup>10</sup> чашку разбей, только приди и признайся сам: я, мол, тетя, разбил твою любимую чашку, и я ничего не скажу, даже не побраню...

Об экзекуциях и оригинальных наказаниях с приезда князя Василия Васильевича не было и речи. Только раз, входя с Серафимой Ивановной в столовую, он увидел буфетчика, стоящего в углу в дурацком колпаке, наскоро сделанном из сахарной бумаги.

– Вот, батюшка князь, – сказала Серафима Ивановна, – этот балбес, из озорства и с целью поднять помещицу при твоей княжеской милости на смех, подал давеча невычищенный самовар. Строгих наказаний в Квашнине нет и в заводе, а совсем не взыскивать с этих озорников нельзя: на голову сядут.

Князь Василий Васильевич, может быть, и посмеялся бы над странным видом дюжего, тридцатилетнего, в сажень шириной *озорника*, наказанного, как осьмилетний мальчик, если бы из рассказов Чальдини он не знал, что в Квашнине есть в заводе и другие, менее патриархальные, наказания.

Нескромных речей своей прислуги Серафима Ивановна не опасалась; к соседям князь Василий Васильевич не ездил, а в Квашнине виделся с ними не иначе как в присутствии хозяйки; следовательно, думала она, и соседи не проболтаются; итальянец не понимает ни бельмеса, и в этом отношении Серафима Ивановна была так же спокойна, как и в других.

Ей и в голову не приходило, что по-латыни можно говорить о чем-нибудь, кроме рецептов; не то она на время услала бы куда-нибудь больничного врача Вебера, который с первых дней знакомства своего с Чальдини очень сошелся с ним, часто беседовал и кончил тем, что яркими и верными чертами описал ему характер и обычаи квашнинской помещицы. «Не худо бы, – прибавил он в заключение своего рассказа, – чтобы князь узнал, что здесь делается: не может быть, чтоб он не заступился за этих несчастных».

Узнав подробности о житье-бытье крепостных Серафимы Ивановны, князь Василий Васильевич с трудом мог скрыть перед ней глубокое чувство омерзения, внушаемое ему этой красивой, двадцатичетырехлетней и уже дотла развращенной девушкой. Он тут же, сторяча, написал княгине Марии Исаевне, что как ни дружна она с подругой своего детства, однако ж и думать нельзя поручить ей ее сына.

Но как отправить письмо это? С нарочным? Серафима Ивановна непременно его перехватит. С фельдъегерем, как государственную депешу? Серафима Ивановна удивится, что числится в отпуску и не получая в Квашнине никаких бумаг, князь Василий Васильевич посылает в Москву государственные депешы. Кроме того, он боялся, что княгиня Мария Исаевна,

---

<sup>10</sup> Саксонец барон Бетихер изобрел фарфор в 1676 г.

по дружбе с *кузиной*, сообщит ей его письмо прежде, чем он успеет принять меры для ограждения Вебера и квашнинской дворни.

Чальдини советовал ему прямо объявить Серафиме Ивановне, что такой фурии он не поручит не только своего внука, но и дворовой собаки; а если князь стесняется сам передать ей это, то пусть прикажет ему, Чальдини, и он хотя и не знает ни по-русски, ни по-французски, однако ж с удовольствием исполнит его приказание:

– Деликатничать я с ней не буду; она этого не стоит. А что она меня поймет, – за это я ручаюсь.

– Недели две тому назад, – отвечал князь Василий Васильевич, – я бы показал, как я с ней деликатничаю: я бы отдал ее под опеку и запретил бы ей въезд в Квашнино. А теперь надо ждать и притворяться, что мы ничего не знаем о ее проделках. Завтра едем в Медведково; я скажу, что обещал быть у князя Репнина двенадцатого числа на именинах и у молодого царя на маневрах; что Миша поедет с нами, чтобы еще раз проститься с отцом и матерью и что через несколько дней ты привезешь его назад, совсем снаряженного в дальнюю дорогу.

– Ну, это нашей хозяйке не очень понравится, – сказал Чальдини, – она и то всякий день твердит Веберу, что все готово в дорогу и что она боится, как бы опять не начались осенние дожди.

За обедом, только что князь Василий Васильевич начал говорить о своем намерении на другой день уехать и прежде чем он успел прибавить, что берет внука с собой, – он был прерван одним запоздалым гостем, стремительно влетевшим в столовую. Этот запоздалый гость из Серпухова привез с собой множество *самых свежих и самых верных новостей*, которыми поделился по секрету со всеми обедавшими. Говорили, во-первых, что в день именин схимонахини Анфисы, на пути от Вознесенского монастыря в село Преображенское, несколько стрельцов напали на царя Петра с тем, чтобы взять его в *полон*, и что если бы не преображенцы, подоспевшие ему на выручку, то его отрешили бы от царства; что стычка была жаркая; что царь ранен и пять стрельцов убиты; что царь защищался, как лев, и своей рукой положил двух стрелецких офицеров на месте; что молодая беременная царица Евдокия Феодоровна, ехавшая с царем, перепугалась и слегла; что царица-мать тоже при смерти... Еще говорили, что в праздник Преображения стрельцы подали царевне Софии Алексеевне челобитную о принятии царства и титула самодержицы; и на следующий день она собрала в Кремле все стрелецкие полки и ходила с ними на богомолье в Донской монастырь; оттуда вся процессия с иконами и патриархом отправилась в Преображенское с тем, чтобы захватить Петра; но что он ускакал в Троицкую лавру с преданными ему немцами; лавра укрепляется на случай осады; что число ратных людей на защиту Петра увеличивается не по дням, а по часам; что у него уже около ста тысяч войска и что даже большая часть стрелецких полков перешла на его сторону; что Щегловитов скрывается; что царь Иоанн велел отыскать его и отправить к Петру скованным; что царевна делает новые попытки к примирению, но что Петр непреклонен и хочет идти войной на Кремль.

Припоминая обстоятельства поездки своей с царем Петром из Вознесенского монастыря в Преображенское и странную встречу на дороге со Стрижовым и со Щегловитовым, князь Василий Васильевич понял, что хотя эти известия преувеличены, однако ж они имеют некоторое основание. Он порадовался, что случай помог ему избавить Петра от угрожавшей ему опасности. Но в чем состояла эта опасность и вообще какая могла быть цель царевны захватить Петра, – этого он не понимал: спрятать русского царя так, чтобы никто не знал, где он спрятан, – дело довольно мудреное. Убить его?.. Князь Василий Васильевич считал царевну неспособной на братоубийство.

Троице-Сергиева лавра с давних времен была любимым убежищем царских семейств от междоусобий. Она в отличие от других крепостей и монастырей была укреплена по всем правилам фортификации.

Судя по рассказам о *жаркой стычке* Петра со стрельцами и зная вообще, как стоустая молва любит преувеличения, князь Василий Васильевич не верил, разумеется, ни в стотысячную армию, находящуюся в распоряжении Петра, ни в намерение его идти войной на Кремль. Но для него было ясно, что, может быть, и без ведома царевны, а покушение на свободу Петра было сделано стрельцами; также возможным казалось ему, что после неудавшегося покушения Щегловитов уговорил своих стрельцов провозгласить Софью Алексеевну царицей. Очевидно, во всяком случае, что предсказанная князем Василием Васильевичем открытая, неравная борьба уже началась и что она должна кончиться гибелью правительницы.

Да, положение Петра было крепко не одними стенами неприступной твердыни: права его, основанные на завещании царя Федора и подтвержденные представителями всех сословий, опирались, сверх того, на доверие русского народа, утомленного частыми и кровопролитными междоусобиями. Петра князь Василий Васильевич считал непреодолимым, а дело царевны безнадежно потерянным.

– Я плохо верю всем этим скверным новостям, – сказал он серпуховскому помещику, – большая часть из них – чистая выдумка: накануне именин схимонахини Анфисы царь Петр Алексеевич очень дружелюбно обедал у сестры; с именин я поехал вместе с ним в Преображенское, где пробыл до вечера; ужинал я у царя Петра с начальником стрельцов и другими стрелецкими офицерами, и, верно, мы знали бы что-нибудь о *жарком сражении*...

– Мирская молва что морская волна, – сказала Серафима Ивановна. – Итак, батюшка князь Василий Васильевич, завтра ты изволишь уезжать отсюда; а нам-то когда прикажешь отправляться?

– Да коль все готово, так тоже завтра, – отвечал князь. – До Тулы доедем вместе; а там пообедаем и поедем, вы на Киев и на Житомир, а я в свое Медведково.

– У нас все готово к отъезду, – сказала Серафима Ивановна, – только нажарить кур да напечь пирогов на дорогу. Пойду распорядиться.

Чальдини очень удивился внезапной перемене, происшедшей в намерениях князя, и вместе с ним пошел в его кабинет, чтобы расспросить его о причине этой перемены.

– Дела в Москве принимают такой оборот, – сказал ему князь Василий Васильевич, – что Мише лучше ехать, хоть с Серафимой Ивановной, чем медлить минуту лишнюю. Здесь, в отсутствие моем, пример Серафимы Ивановны мог бы, конечно, быть очень вреден для Миши и я ни за что не оставил бы его на ее руках, а за границей она поневоле присмирееет. В дороге Мишу она обижать не посмеет, зная, что ты будешь писать мне обо всем, что его касается; а немедленно по приезде в Париж ты передашь мое письмо графу Шато Рено, и прежде чем ты соберешься во Флоренцию, Миша уже будет отдан в хорошие руки.

Вели укладываться; я напишу куда несколько писем, которые поедут с вами.

На следующий день, 10 августа, выехали: в дормез села Серафима Ивановна с Мишей и горничной Анисьей; на козлы сел фельдъегерь, а князь поехал в открытой коляске с Чальдини и со своим камердинером.

Управлять Квашниным остался бурмистр под наблюдением Вебера, который обещал Серафиме Ивановне писать ей каждые две недели, адресуя письма через Ригу в Париж на имя адмирала графа Шато Рено с передачей госпоже Квашниной. Несколько конвертов с надписями на русском и на французском языках были заблаговременно изготовлены самой Серафимой Ивановной.

Анисья очень просила голубушку-боярышню взять с собой ее Анюту – полечить на немецкой стороне; она бралась все время везти дочь на коленях, уверяя, что она никого не стеснит, что она маленькая и легонькая. Но голубушка отвечала, что Анютка может полечиться и у Карла Федоровича (Вебера), который за это получает жалованье, а что со стороны Анисьи даже неприлично просить везти никому не нужную девчонку в княжеской карете и вместе с молодым князем. Впоследствии Анисья часто сожалела, что не осмелилась попросить этой

милости через князя Василия Васильевича, которому Серафима Ивановна ни в чем не отказала бы.

Всю дорогу от Квашнина до Тулы Миша горько плакал, не внимая утешениям тетки.

– Полно убиваться, Мишенька, – говорила она, – это, разумеется, делает честь твоему сердцу, что ты так любишь дедушку; но будь рассудителен: рано или поздно надо же расстаться с дедушкой. А у меня ты будешь как у Христа за пазушкой; никакому царевичу не может быть так хорошо, как тебе будет у меня, мой Мишенька; ну полно же всхлипывать...

В Туле наскоро закусили, отслужили напутственный молебен и расстались. Прощаясь, Миша так вцепился в дедушку, что его с трудом оторвали от него и почти без памяти отнесли в карету. Горячо чувствуется, хорошо любится в лета Миши. И куда девается впоследствии эта драгоценная чувствительность детского возраста?.. Куда? Она выбрасывается, как лишний груз в трудное плавание по морю житейскому...

## Глава III

### Бред честолюбия

В Медведкове с нетерпением ожидали князя Василия Васильевича. Сыновья его не знали, что предпринять, на что решиться в отсутствие главы семейства. Хотя они и открыто принадлежали к партии Иоанна и Софьи; хотя им на мысль не приходило, сделав с совестью слишком обыкновенную сделку, под предлогом патриотизма оставить царевну и перейти к будущему источнику милостей, однако ж последние поступки царевны так резко выходили из ряда самых отважных политических преступлений; ее участие в заговоре Щегловитова против Петра было так очевидно, что страх прослыть сообщниками братоубийцы, весьма естественно, ослаблял их рвение к службе царевне. Если, с одной стороны, любовь к отечеству не избавляла их от личной благодарности к женщине, которой они были обязаны всей карьерой, то, с другой стороны, эта благодарность должна иметь пределы, и мысль положить голову на плаху, оставляя по себе память изменника, не могла не ужасать людей, дороживших мнением потомства. Брут для освобождения Рима не поколебался поразить своего благодетеля; но согласился ли бы он изменнически убить Помпея из личной благодарности к Цезарю?

Княгиня Мария Исаевна, как уже сказано, мало занималась внутренней политикой; но в этом деле она считала не лишним подать свое мнение. Вообще советы ее отличались практическим благоразумием: не гоняясь за примерами древних римлян, о которых, правду сказать, она мало и слышала, и не понимая колебаний своего мужа и брата его, она говорила им, что так как царевна перестала ладить даже с царем Иоанном и так как, несмотря на указы обоих царей, она продолжает скрывать Щегловитова в своих потаенных теремах, то, рано или поздно, ей несдобровать и поэтому лучше всего оставить ее на произвол судьбы, как сделала большая часть ее партизан.

– Если она опять всплывет, что при ее оборотливости не невозможно, – прибавила княгиня Мария Исаевна, – то вы всегда успеете возвратиться к ней и объяснить свое отсутствие желанием, для ее же добра, сохранить хорошие отношения с дядей князем Борисом<sup>11</sup> и другими сторонниками Петра.

Вот мое глупое мнение, я человек необразованный, – заключила княгиня Мария Исаевна, скромно опустив глаза к полу и через полминуты поднимая их к потолку с удивлением, что никто не возразил ей, – как можно, мол, такое гениальное мнение называть глупым!

Немедленно по возвращении в Медведково князь Василий Васильевич, расспросив подробно сыновей обо всем, что происходит в Кремле и в лавре, поехал в Кремль, несмотря на усталость, на проливной дождь, на начинающееся воспаление в боку. Это воспаление, от которого он отделялся обыкновенно кровопусканием, двухнедельной диетой и каким-то белым порошком, изобретенным доктором Чальдини, навещало его каждую осень, и так как после двухнедельного лечения он на всю зиму становился и крепче и бодрее, то, нимало не боясь этого воспаления, он привык с сорокалетнего возраста смотреть на него как на недуг, правда несносный, но неизбежный и необходимый для обновления его организма.

Царевну он нашел очень изменившеюся: черты лица ее, все еще прекрасные, погрубели; глаза впали и отделились голубой каемкой, все лицо похудело и побледнело. Что произвело в ней такую быструю перемену? Угрызения ли совести, не поладившей с рассудком? Обманутые ли надежды честолюбия? Разочарования ли дурно распорядившейся любви? Неизвестно: и те, и другие, и третьи действуют разрушительно.

---

<sup>11</sup> С князем Борисом Алексеевичем Голицыным, воспитателем Петра Великого.

– Пророчества твои начинают сбываться, князь Василий, – сказала царевна. – Видишь, в каком я положении; жребий брошен! Знаешь ли ты, что случилось во время твоего пребывания в Квашнине?

– Слышал, – отвечал князь Василий, не столько садясь, сколько упавая на кресло, – я сейчас только с дороги, весь распротужен... слышал, царевна, и не верил ушам своим: все единогласно говорят, что ты покушалась убить брата. Правда это?

– Нет, неправда! С того вечера, как ты... как с тобой на этом самом кресле сделалось дурно... да тебе и теперь дурно, князь Василий?..

– Да, очень болит бок; но я перемогусь... Продолжай, царевна.

– С того самого вечера до Преображения я Ще... я *его* ни разу не видала. Двадцать четвертого июля утром между нами было говорено, чтобы на другой день, в именины тетушки, *он* привез Петра ко мне; и он должен был ожидать последних приказаний, которые я обещала дать ему по совещании с тобой... ты ушел; ты помнишь, что в этот вечер нам было не до совещаний... и он решился действовать, не ожидая последних приказаний моих и не надеясь на твое согласие. Он рассчитывал на легкий успех... Если б ему удалось, то, – клянусь тебе, – моя цель была заставить Петра подписать отречение от престола, и больше ничего. Двоецарствие, ты сам говоришь, невозможно...

– А если б, защищаясь, Петр был убит? Ты не подумала об этом?

– Ах! Это было бы самое счастливое, что только могло случиться и для нас и для России!..

– Ты не подумала, что кровь его и бесчестие цареубийства пали бы на тебя, на меня, на моих сыновей и на всех твоих приверженцев?

– Нет, кровь его пала бы на него самого, а бесчестие не могло бы коснуться человека, которому Россия столько обязана. Посмотри, что сделано в наше семилетнее правление: славный мир со Швецией и с Польшей; союз с императором против Порты... Что еще и когда еще сделает Петр, а наши дела видела вся Европа; за них благодарит нас вся Россия, и она не променяет нас на семнадцатилетнего мальчика и на его безумные затеи. Права Петра неотъемлемы, ты говоришь; а разве права Иоанна и мои не такие же? За что младший будет владеть достоинством старших?.. Большинство московских жителей и все здравомыслящие дворяне за меня: на прощении, поданном мне о принятии престола, – тысячи подписей; на днях я получу другое прошение, – о немедленном короновании... Смешно бы было мне отказать: глас народа – глас Божий.

– Ты сама себя хочешь обманывать и утешаешься пустыми мечтами, – возразил князь Василий все более и более слабеющим голосом. – Я не видал прошения, поданного тебе в праздник Преображения; но знаю, какие на нем подписи: кресты, может быть насильно выманные стрельцами у безграмотных москвичей; есть ли между этими подписями хоть одно мало-мальски порядочное имя? Нет, царевна, тебе теперь одно спасение... позвони, пожалуйста, и прикажи дать мне стакан воды; попробую принять порошок: мочи нет больно... да оберни мне голову мокрым полотенцем... я чувствую, что начинается горячка...

На чем, бишь, мы остановились, – сказал князь Василий по уходе слуги, принесшего воду, – теперь голове полегче, а бок все еще болит...

– Ты говорил о единственном средстве моего спасения, но не лучше ли тебе лечь, князь Василий? Я бы послала за доктором...

– Нет, не надо; я сейчас кончу и уеду. Итак, царевна, тебе одно спасение: выдать Щегловитова Петру ты не согласишься, и я сам не посоветую тебе бесчестного поступка. А уезжай, пока время; уезжай в Варшаву или в Вену; хоть со Щегловитовым уезжай; но не медли часа лишнего; а я без тебя помирю тебя с Петром на самых выгодных условиях. Ручаюсь, что для меня он сделает все возможное; последнее время он очень полюбил меня. Послезавтра я буду у Репнина на маневрах... Завтра привезу тебе паспорта... Петр, правда, чувствует свою силу, но он чувствует и свою неопытность и нуждается во мне... Петр боится меня... Нет! Я так скоро

своего места не уступлю! Я на этом месте сделаю такие дела, что вся Европа подивится им!.. А хочешь ли, царевна, ехать вместе со мной к Леопольду?..<sup>12</sup> Ах, голова, голова!.. Я совсем забыл, что ты едешь со Щегловитовым к Яну Собескому<sup>13</sup>. Едешь ты завтра или нет? – прибавил князь Василий, стараясь встать с кресла и тут же упавая в него.

– Если успею собраться, так поеду, – отвечала царевна, видя, что бред усиливается, и боясь противоречить больному, – но мне кажется, спешить нечего, погодим до твоего выздоровления и тогда решимся; домой в этом положении тебе ехать никак нельзя.

Царевна позвонила.

– Съезди как можно скорее к Фишеру, – сказала она вошедшему слуге, – и попроси его сюда, если его не застанешь дома, то привези другого доктора: князь очень болен!

Слуга торопливо вышел.

– А куда ты полечишься, – продолжала царевна, – многое может перемениться: я очень надеюсь на прошение от всех сословий... Посмотрим, что скажет Петр на моей коронации: он не хотел соправительницы, так будет же над ним государыня!..

– Да, будет над ним государыня! Будет над ним и государь! Я буду его государем! Нет, не я, а Щегловитов... Иоанн, Петр, куда девать вас? – князь Василий Васильевич чувствовал, что бредит, но не мог удержаться. – Зачем Щегловитов подвернулся здесь, – продолжал он, – без него было так хорошо!.. А Петр, Петр – умный ребенок... Миша тоже умный ребенок. Нет, Серафима Ивановна, Чальдини не даст тебе умничать над Петром! Позовите Чальдини... Куда это ты ведешь меня, Алексей Михайлович? – спросил князь Василий, чувствуя, что сильные руки людей, прибежавших на зов царевны, приподнимают его с кресла.

– Успокойся, князь Василий, приляг на диван; ты очень болен!..

– Ты думаешь, что я болен, ты думаешь, что я не в своем уме!.. Я знаю, что говорю тебе, государь; ты не любишь, чтобы тебе противоречили; ни один государь не любит противоречий, а я должен противоречить... поход в Перекоп – большая ошибка; не скоро исправит ее Леопольд; а Щегловитов и Лефорт и подавно...

– Скорее, доктор! – закричала царевна входящему Гульсту<sup>14</sup>. – Ему очень дурно!

– Да, Серафима Ивановна, – продолжал кричать князь Василий Васильевич, – будешь ты под опекой в Перекопе, или я не буду министром... я первый министр и останусь первым министром! Петр не посмеет свергнуть меня, меня, великого Голицына. Я нужен России, и Россия нужна мне...

Покуда готовили все нужное для кровопускания, Гульст объяснил царевне, что, приехав к Фишеру и не застав его дома, он встретил у него ее посланного и поспешил на помощь к больному.

Услыхав звуки французского языка и увидев напудренный парик, князь Василий Васильевич принял Гульста за Людовика XIV и тут же вступил с ним в разговор:

– Конечно, царствование вашего величества полно славы; но и наше будет такое же. Мы заключим союз как равные! Россия и Франция, в тесном между собою союзе, предпишут закон всей Европе. Турции не будет!.. Ох! Как тяжелы скипетр и корона!

Ему казалось, что палка, которую ему дали в руку перед кровопусканием – скипетр, а макрое полотенце на голове – корона.

– Однако не надо, чтоб вы требовали выдачи Щегловитова: ее царское величество Софья Алексеевна ни за что не согласится выдать его; он ее... Вы мне сделали больно, государь!..

В эту минуту из руки, державшей *скипетр*, хлынула кровь, и князь Василий Васильевич впал в обморок.

---

<sup>12</sup> Леопольд I, германский император.

<sup>13</sup> Ян III Собеский, польский король.

<sup>14</sup> Голландец фон дер Гульст, лейб-медик царя Петра Алексеевича.

На следующий день Фишер настоял на том, чтобы больной был перевезен в Медведково – подальше от театра политических действий. Князь Василий Васильевич всю дорогу был без памяти и не сказал ни слова. Фишер, давно знакомый с организмом своего пациента, не очень беспокоился его болезнью, хотя и видел, что она в эту осень обещает быть и опаснее и продолжительнее, чем в предыдущие. Он вообще не любил мудрить, испытанный чальдиневский порошок до сих пор приносил пользу, и Фишер решил ограничиться им и на этот раз.

Если б все врачи были такие, как Фишер, то, вероятно, не состоялся бы указ, изданный во время правления Софьи Алексеевны о том, что всякий лекарь, уморивший своего больного, будет казнен смертью. Ныне многие (не врачи) сожалеют об отмене этого указа.

На четвертые сутки болезни князь Василий Васильевич пришел в память, но говорить еще не мог; да Фишер и не позволил бы ему говорить. На девятые сутки был кризис, после которого больному стало делаться заметно лучше, и на одиннадцатый день князь Борис Алексеевич, несколько раз просившийся к своему двоюродному брату, получил наконец от Фишера позволение навестить больного.

От брата князь Василий Васильевич узнал, что Петр, несмотря на собственные заботы и на неприятности с сестрой, принимает большое участие в его болезни и зовет его по выздоровлении к себе. Сыновья князя Василия Васильевича часто навещали царевну, предлагая проводить ее до границы или даже до Варшавы; но царевна наотрез объявила, что до выздоровления их отца она Кремля не оставит. Она несколько раз посылала то князя Алексея Васильевича, то брата его в лавру с поручением уговорить царя Петра переехать в Кремль, обещая, именем царя Иоанна, что виновные стрельцы будут немедленно отданы под суд; с этим же поручением она посылала к брату и князей Прозоровского и Троекурова; но ни Голицыным, ни Прозоровскому, ни Троеурову не удалось выманить Петра из крепкой его позиции. Он, конечно, не сомневался ни в преданности ему этих бояр, ни в искренности обещаний царя Иоанна; но сестре своей он уже давно верить перестал.

Между тем с таким нетерпением ожидаемая царевной челобитная о коронации была ей подана; подписей и крестов было на этой челобитной еще больше, чем на первой, и царевна ободрилась.

Но Петр тоже не унывал и не дремал. В ответ на челобитную он грозными грамотами потребовал к себе по десять человек с каждого стрелецкого полка для отчета в новых затеянных стрельцами смутах, а брату Иоанну написал Петр, что так как *третье зазорное лицо, сестра их, продолжает упорствовать и мутить царством и в титулах писаться и хочет для конечной их, государей обиды венчаться царским венцом и стрельцы, над коими потребно учинить суд из правдивых судей, продолжают сочинять возмутительные грамоты против власти, им, обеим особам Богом врученной*, то он, Петр, умоляет государя-брата положить конец междоусобиям, раздирающим их отечество, и примерной казнью мятежников отнять у царевны всякую возможность на дальнейшее сопротивление.

Князь Борис Алексеевич Голицын, пробыв все утро в Медведкове, к вечеру возвратился в Троицкую лавру и сообщил царю Петру, что брат его, князь Василий, все еще очень болен, но что недели через две он надеется выехать и что он сочтет первым долгом явиться к государю – поблагодарить его за милостивое участие, принимаемое им в его выздоровлении.

Наконец, после трехнедельной болезни, накануне Нового, 1689 года, 31 августа, пользуясь ясным солнцем и теплой погодой, князь Василий Васильевич сел в знакомую читателю открытую коляску и отправился в Троицкую лавру.

Петр, не подавая ему руки, холодно указал на кресло и, не садясь сам, стал ходить по комнате, придумывая, с чего бы начать разговор. Очевидно было, что начало этого разговора очень затрудняло Петра.

– Ты на меня гневаешься, государь, – сказал князь Василий Васильевич, – я это вижу и, может быть, отгадываю за что.

– Послушай, князь Василий, – отвечал Петр, – я не хочу с тобой хитрить, – дипломатничать, как вы это называете, я считаю тебя за честного человека и прошу тебя: обещай мне отвечать правду на вопросы, которые я предложу тебе.

– Позволь спросить тебя, государь: вопросы эти будут касаться одного меня или еще кого-нибудь?

– Одного тебя, и больше никого.

– Обещаю сказать тебе всю правду, государь.

– Хорошо!.. Знал ты или не знал о заговоре сестры моей со Щегловитовым и со Стрижовым захватить меня на дороге в Преображенское?

– Не только не знал, но и не подозревал, государь. Ты помнишь, как Стрижов удивился, увидав меня в твоей карете...

– Я думал об этом, если, зная о заговоре, ты не предупредил меня, то, значит, ты ему сочувствовал, а если б ты ему сочувствовал, то не помешал бы ему исполниться. Зотов<sup>15</sup> это называет, кажется, дилеммой, и дилемма *сия зело красна и убедительна*; но что для меня не красно и неубедительно, что до сих пор остается загадкой – это то, что Щегловитов с десятком таких же сорванцов, как он сам, смел покуситься... Второй вопрос: советовал ты сестре моей бежать в Польшу и с помощью Собеского объявить мне войну?

– Государь, миром третьего года<sup>16</sup> царевна поставила себя в слишком дурные отношения к польскому королю, чтобы подобные советы могли прийти мне в голову. Да и неужели ты считаешь меня способным вооружать Польшу против России?

– Это не ответ, а вопрос, – отвечал Петр. – Я спрашиваю, советовал ли ты сестре моей ехать в Польшу.

– Советовал, государь, и теперь советую; но не для продолжения междоусобий, а для прекращения их. В ее отсутствие власть твоя так окрепнет, что царевна уже не будет в состоянии вредить тебе и по возвращении примирится со своим положением. Я помню, как сквозь сон помню, я уже начинал заболеть, что предлагал царевне сделать все возможное, чтобы примирить вас в ее отсутствие.

– Нет, поздно ей со мной мириться!.. Что ж, согласна она уехать и, может быть, думает она взять с собой Щегловитова и Стрижова?..

– Государь, во время моей болезни царевна была в Медведкове всего один раз и не говорила со мной о делах...

– На это, впрочем, можешь не отвечать: это касается не лично тебя. Ну а перед болезнью ты не говорил о ее коронации, не поощрял ее?

– Государь, я доложил тебе, что в последний раз, как я видел царевну в Кремле, я уже был очень болен...

– Знаю, и я говорю не об этом последнем разе, а о тех советах, которые ты давал сестре моей до твоего отъезда в Тулу.

– До отъезда в Тулу я не дал царевне ни одного совета, который не клонился бы к вашему примирению и к отречению ее от соправительства.

– Верю тебе, – сказал Петр, подойдя к князю Василию и пожимая ему руку, – верю и благодарю; а об этом *последнем разе*, о первом дне твоей болезни, и говорить не стоит: я знаю твой разговор с Людовиком Четырнадцатым; знаю и то, что за лихорадочный бред человек отвечает так же мало, как и за сон, который ему приснится.

– Неужели Гульст передал тебе, государь?..

---

<sup>15</sup> Дьяк Челобитного приказа Никита Моисеевич Зотов обучал царевича Петра грамоте и закону.

<sup>16</sup> Этот мир был заключен князем Василием Васильевичем Голицыным в Москве 26 апреля 7194 г. от Сотворения мира по старому стилю (6 мая 1686 г. от Р. Х. по новому стилю)

– Все передал: и о скипетре, и о короне, – отвечал, смеясь, Петр, – но вовсе не с тем, чтобы повредить тебе: он знает меня хорошо... Ну еще один вопрос, последний: советовал ли ты сестре моей, в бреду ли или не в бреду, ни в каком случае не выдавать мне Щегловитова?

– В бреду не помню, что я ей говорил; а не в бреду я точно советовал не выдавать Щегловитова.

– Могу ли я узнать причину этого мудрого совета?

– Не спрашивай, государь; я не могу сказать ее никому в мире.

– Даже мне?

– Тебе – меньше, чем кому-нибудь, государь; да и... Щегловитов теперь совершенно безвред...

– А обещание?

– Обещание касалось моих тайн, и я не скрыл от тебя ни одной, государь.

– Хорошо! – сказал Петр, показывая внезапно похолодевшим тоном, что аудиенция окончена. Он подошел к бюро и, остановившись перед ним, начал разбирать лежащие на нем бумаги.

Князь Василий Васильевич кончил аудиенцию почти теми же словами, которыми он начал ее.

– Государь, – сказал он, – ты на меня гневаешься, и я понимаю это, но со временем ты увидишь, когда-нибудь ты, может быть, узнаешь то, что я теперь не могу открыть тебе... Тогда ты отдашь мне справедливость, тогда...

Петр, не отвечая ни слова, углубился в бумаги, и князь Василий, поклонившись и прихрамывая, вышел из царского кабинета.

На следующее утро, подъезжая к Кремлю, он был еще издали поражен зрелищем необыкновенным.

«Должно быть, справляют Новый год», – подумал он.

На площади, перед дворцом, стояло несколько бочек, вокруг которых, – кто с кубком, кто со стаканом, кто с отбитым дном бутылки, – суежилась толпа народа, большею частью военного. Обедня только что отошла, и пир только что начинался, но уже иные пировавшие были очень пьяны, и пьянее всех, как и следовало, распорядители пира, то есть стрельцы, приставленные к бочкам для правильного угощения приглашенных. Порядка не было никакого: шум, крик, брань, драка жаждущих с распорядителями; требования полупьяных; ругательства совершенно пьяных, обрезающихся в кровь днами бутылок; увещания офицеров пить без шума, без споров и по очереди; громогласные тосты за великую государыню Софию Алексеевну, проклятия Нарышкиным и немцам, испортившим русскую землю, – все это, как громовые перекааты, раздавалось на площади, и над перекаатами этими господствовал голос высокого, стройного стрелецкого начальника, стоявшего на крыльце дворца и читавшего манифест.

– «Божиим всемогущим произволением, – читал Щегловитов, – и его десницей, аз, царица и великая, княжна Софья Алексеевна, всея великия, малыя и белыя России самодержица всим обще и каждому зособно<sup>17</sup>, кому ведати надлежит, объявляем поневаж<sup>18</sup> с грустию виделись мы<sup>19</sup> несчастливый стан<sup>20</sup> русского народа и снизойдя к челобитной московских и всея России обывателей, абысьмо<sup>21</sup> царским венцом праотцев наших венчатися соизволили, мы, великая государыня, будучи горестию всенародною и слезными челобитиями ублаганы<sup>22</sup>,

---

<sup>17</sup> Особенно

<sup>18</sup> Так как.

<sup>19</sup> Видели мы.

<sup>20</sup> Положение.

<sup>21</sup> Чтобы мы.

<sup>22</sup> Тронуты.

постановились мы престол прияти и венцом царским венчаться. Того ради, перестерегаем<sup>23</sup> мирной народ от вражых кривд и зрад<sup>24</sup> злодеев наших Нарышкиных, в Троицкой лавре обре-тающихся и молодого царевича мутящих, абы здрайцами<sup>25</sup> овыми<sup>26</sup> прельцати себя не допу-щали...»

Увидев князя Василия Васильевича, Щегловитов прервал чтение и поспешно скрылся. Двое стоявших около него офицеров почтительно посторонились, давая князю Василию Васи-льевичу дорогу. У каждого из них было в руках по большой кипе еще мокрых манифестов.

– Что это такое? – спросил князь Василий, взяв один экземпляр и пробега его глазами.

– Это манифест нашей государыни, – отвечал один из офицеров.

– Приказано было прочесть его за обедней, – прибавил другой, – да поп говорит, что писанное плохо видит; манифест только сейчас отпечатали и принесли.

– Царевна наверху? – спросил князь Василий.

– Государыня изволит сейчас сойти: будет присутствовать при казни своего слушника.

– Какого слушника?

– Нечаева, бывшего полковника шестого полка; вон он стоит у стенки; послали за топо-ром и за плахой, да что-то долго не несут...

Тут только князь Василий увидел и узнал молодого стрелецкого полковника Нечаева: весь оборванный, без кафтана и крепко связанный, он стоял шагах в десяти от крыльца, окру-женный шестью или семью воинами, приставленными к нему стражей, и толпой пьяных стрель-цов, бранивших несчастного самыми площадными словами.

– Как попал сюда полковник Нечаев? Чем провинился он и кто приказал его казнить? – спросил князь Василий Васильевич у одного из офицеров, державших манифесты.

– Он уже не полковник, – отвечал офицер. – Государыня разжаловала его, а Феодор Леон-тьевич, именем государыни, приказал его казнить за то, что он приехал из лавры с возмути-тельной грамотой от Нарышкиных и, назвавшись посланным от царя, прочел ее перед съез-жими избами... да что-то долго не найдут топора...

– Подведите сюда полковника! – крикнул князь Василий караулу.

Первый министр государства, великий канцлер, любимец правительницы и обоих госу-дарей, – все это не составляло особенной важности в глазах стрельцов, которые считали себя обязанными несравненно большим почтением всякому военному офицеру, чем любому санов-нику в гражданском одеянии; но в князе Василии Васильевиче Голицыне кроме сановника и министра они видели своего главнокомандующего, еще недавно водившего их в Перекоп, а известно, что вид главнокомандующего всегда производит на русского воина магическое действие: при виде главнокомандующего самые буйные солдаты делаются застенчивыми, как красные девушки; пьяные мгновенно отрезвляются; тяжело раненные перестают стонать; даже умирающие стараются улыбнуться и перед смертью хоть раз крикнуть при начальстве: «Рады стараться!..»

Начальник приставленной к Нечаеву стражи живо подтянул пояс на кафтане, поправил перевалившиеся набок латы, скомандовал что-то своей команде и, держа руку под козырек, подвел арестанта к главнокомандующему.

– Объясни мне, пожалуйста, Нечаев, – сказал князь Василий Васильевич молодому чело-веку, – что здесь происходит и чем ты провинился перед царевной.

– Ничем! – гордо отвечал Нечаев. – Государь Петр Алексеевич послал меня с грамотой к стрельцам; я обещал доставить ее и прочесть вслух; и я доставил и прочел ее.

---

<sup>23</sup> Предостерегаем.

<sup>24</sup> От измены.

<sup>25</sup> Изменниками.

<sup>26</sup> Теми.

– А что сказано в царской грамоте?

– Сказано, что государь требует немедленной выдачи мятежников Щегловитова, Петрова, Стрижова, Рязанова, Айгустова и их сообщников. Стрельцы колебались; иные соглашались выдать царских злодеев: «Мы за воров не стоим!» – кричали; но Федор Леонтьевич перебил: велел связать меня; сломал мою саблю над моей головой и послал за топором. Уж лучше б отрубил мне голову саблей или застрелил бы из ружья! Я не боюсь смерти; если я дрожу, так это от холода, а не от страха.

Зная, до какой степени привезенная им грамота была вредна для политики *новой царицы*, Нечаев был убежден, что князь Василий Васильевич, действующий во всем с ней заодно, подождал его только для того, чтобы поскорее с ним покончить. В эту минуту, окруженный тысячами любопытных глаз, смелый стрелец не только не надеялся на пощаду, но даже и не думал о ней: он думал только о том, чтобы не осрамиться и умереть молодцом.

– Развяжите его, – сказал князь Василий Васильевич караулу, – и стыдитесь ругаться над храбрым офицером, которого связали, как преступника, за то, что он исполнил свой долг! Кто из вас, на его месте, поступил бы иначе? Он дал слово своему государю слепо исполнить его приказание, а вы хотите, чтобы из страха казни он изменил и давнишней присяге своей, и только что данному обещанию!..

Между стрельцами прошел гул, похожий на ропот, сдерживаемый, правда, присутствием главнокомандующего, но ясно доказывавший, что большинство стрельцов вовсе не одобряло казни Нечаева и что если оно против нее не протестовало, то это оттого, что военным людям протестовать против распоряжений начальства и неловко, да и не безопасно.

– Вестимо, он по приказанию приехал, – говорил один голос.

– Молодцом проскакал! – прокричал другой.

– И читает, как дьяк, – сказал третий.

– Феодору Левонтьичу в глаза сказал: «Не боюсь, мол, казни! Долг, мол, исполняю!»

– Бает: «То же повторю и государыне царевне», дай ей Бог здоровья!

– Царевна тут ни при чем, – сказал князь Василий Васильевич, – это распоряжение Щегловитова, – острастка за то, что он посмел требовать его выдачи. Не думал я, чтобы Щегловитов способен был казнить своего товарища; да и разжалование его без суда – пустая комедия. С нынешнего дня, именем государей и соправительницы, я отрешаю Щегловитова от начальствования над вами. Объявить сейчас же об этом всем полкам при барабанном бое. Царевна, говорю вам, ни при чем; когда она узнает дело, то сама скажет, что виноватый тут не Нечаев, а Щегловитов... Посмотрите, на что вы все похожи от этих бочек с вином: кабы не вино, стали ли бы вы глумиться над беззащитным офицером, над своим товарищем?..

– Вестимо, батюшка князь!

– Виноваты, батюшка князь!

– Мы только так, за здоровье государыни!

– Да за твое княжеское здоровье, батюшка князь!

– Я иду к царевне, – продолжал князь Василий, – и доложу ей, что первым действием вступления моего в министерство – отрешение Щегловитова. А вы, господа, – обратился он к офицерам, державшим манифесты, – советую вам, до беды, бросить эту полупольскую и полухохлацкую чепуху в печку: разве может русская царевна писать таким языком и разве русский человек может понять его?.. Где твоя лошадь, Нечаев?

Лошадь Нечаева отыскалась прежде, чем он успел объяснить, что, проскакав шестьдесят пять верст в четыре часа, она, не отдохнув, не может везти его обратно.

– Потрудись, – сказал князь Василий одному из офицеров, которым он советовал сжечь манифесты, – потрудись приказать дежурному во дворце конюху, чтобы он сейчас же оседлал моего бурого жеребца Вадима и прислал бы его сюда вместе с моим темно-зеленым кафтаном. – Ты не побрезгуешь моим конем, моим кафтаном и вот этой саблей? – спросил князь Василий у

Нечаева, отпоясывая свою саблю и подавая ее ему. – В таком виде, как ты теперь, тебе к царю явиться нельзя, хотя, – я знаю, – ты дрожишь и не от страха...

Нечаев дрожал от восхищения и не находил слов благодарить: по глазам его видно было, что он совсем не понимал, за что первый министр царевны оказывает ему такие небывалые милости.

– Но как ты проедешь в лавру? – спросил князь Василий. – Дорога, говорят, не свободна.

– Оттуда я проехал ночью в двух шагах от разъездных Айгустова, который расположился со своим отрядом недалеко от лавры; они окликнули меня и даже гнались за мной... да где им! – самонадеянно прибавил Нечаев. – Авань и на обратном пути Вадим не выдаст!..

– Вадим-то не выдаст, да ведь тебе не от Айгустова, а на него скакать; как раз перехватят тебя... на всякий случай я дам тебе нескольких провожатых из Сухарева полка...

Идя наверх, князь Василий Васильевич увидел на лестнице, сходящих с нее генерала Гордона и полковника Лефорта, приглашенных еще в царствование Феодора Алексеевича на службу в Россию и назначенных, по желанию царя Петра, состоять при нем для обучения преобразенцев тактике и фортификации. Гордона, прославившегося защитой крепости Чигирин (ныне Киевской губернии) против многочисленной армии султана Магомета IV (в 1680 году), Петр ценил так высоко, что просил брата и сестру назначить его главнокомандующим Крымской армией; но князь Василий Васильевич не только воспротивился этому невозможному назначению, но не согласился даже взять Гордона себе в помощники, желая предводительствовать армией без контроля и надеясь вторым походом исправить неудачи первого. Лефорта, поступившего в русскую службу в 1682 году, Петр узнал и полюбил во время своего плавания по Плещееву озеру (в Переяславле-Залесском, в июле 1688 года).

– Вы от ее высочества, господа? – спросил князь Василий Васильевич.

– Да, ваше сиятельство, – отвечал Гордон, – и мы должны признаться, что ее высочество приняла нас как нельзя лучше?

– Отчего?

– Мы просили ее позволения отправиться к его величеству молодому царю.

– И она воспротивилась этому?

– Не то чтоб воспротивилась: напротив того, ее высочество пожелала нам счастливого пути, прибавив, впрочем, что так как она не может рассчитывать на нас в то время, когда наше присутствие могло бы быть ей полезным, то чтобы и мы не рассчитывали на нее, когда смуты прекратятся. «Мои недоумения с братом (ее высочество называет это недоумениями!) скоро кончатся, и вас ничем не касаются, скоро все успокоится, и тогда, господа, пеняйте на самих себя, если мои братья, по настоянию моему, уволят вас от службы». Как ни доказывали мы ее высочеству, что наше место теперь при молодом царе, что мы числимся в его потешной роте, ее высочество ничего не хочет знать, и мы, право, в большом затруднении... что прикажете нам делать, князь?

Вопрос этот ставил князя Василия Васильевича, как главного начальника над всеми военными, не в меньшее затруднение, чем то, в котором находились Гордон и Лефорт: приказать им ехать в лавру – значило явно идти против желания царевны; велеть им оставаться в Кремле? – это было бы еще опаснее. Гордон, не любивший князя Василия Васильевича, непременно свалил бы на него всю вину неявики своей к месту службы.

– Сказать вам правду, господа, меня больше всего удивляет то, что вы еще не в лавре: милости и награды польются там обильным дождем; постарайтесь стать под желоб.

– О князь, – сказал Лефорт, – дело совсем не в милостях и не в наградах, дело в том, чтобы исполнить наш долг.

– Одно другому не мешает, – отвечал князь Василий Васильевич. – Если вам нужно мое приказание, без которого, мне кажется, вы могли бы обойтись, то я вам даю его *охотно*: потрудитесь на минутку войти в мою канцелярию.

В канцелярии министерства князь Василий Васильевич начал с того, что отрешил Щегловитова от командования стрельцами, временно назначив на его место старшего полковника Сухарева. Потом велел написать пропускной билет *для вящей службы великих государей и царевны* на имена генерала Гордона и полковников Нечаева и Лефорта.

– Смелчака даю я вам в спутники, а в настоящее время это не лишнее для иностранцев, так мало популярных, как вы, господа. Этот Нечаев сам расскажет вам свои приключения; он счастливо отделался от большой опасности!.. Желаю вам счастья, господа!.. Скажите от меня его величеству, что, вступив в министерство, я берусь уничтожить все следы начавшихся междоусобий.

Отправив иностранцев с Нечаевым и с отрядом в пятьдесят человек, вызвавшихся охотников, князь Василий Васильевич вошел к царевне.

От нее он узнал, что она не только не давала приказания арестовать Нечаева, но что Щегловитов даже не говорил ей о привезенной Нечаевым грамоте.

– Удивительный человек этот Щегловитов! – прибавила она. – Как можно так мало понимать обстоятельства времени!

Князь Василий вкратце рассказал царевне об отрешении им Щегловитова, об отсылке к царю Петру Гордона, Нечаева и Лефорта, о том, что вместо приглашаемых для сопровождения их десяти охотников в одну минуту вызвалось до пятидесяти человек и что вызвалось бы их еще больше, если б он не приостановил их усердия. Потом он стал доказывать царевне, что смена Щегловитова – единственное, и то не совсем верное, средство для спасения его жизни.

– Полюбуйся на эту галиматью, изданную от твоего имени, – прибавил князь Василий, подавая царевне взятый им экземпляр манифеста.

Царевна пробежала его и презрительно улыбнулась.

– Манифесты всегда так пишутся, – отвечала она, – а теперь, какие ни пиши я манифесты, пользы от них быть не может. Теперь все безвозвратно пропало: на той неделе, во время твоей болезни, тетушка Татьяна Михайловна, чтобы примирить меня с Петром, ездила к нему с моими сестрами и с патриархом; сестры возвратились с решительным отказом, а тетушка и патриарх остались в лавре. Третьего дня я было сама поехала туда, но, доехав до Воздвиженского, была остановлена Троекуровым и Бутурлиным... Ты ничего этого не знаешь, живя в своем Медведкове... Они там, видно, не очень уверены в преданности перебежчиков: боятся новых смут от моего присутствия... с угрозами<sup>27</sup> и чуть ли не под стражей привезли меня назад в Москву...

– Как же ты стращала Гордона и Лефорта, что после примирения?..

– Все эти иностранцы мне противны! Кабы не они, Петр никогда не вышел бы у меня из повиновения. Ты вывел их в люди, и вот как они отблагодарили тебя!.. Если их место при Петре, что ж они так медлили? Откуда это внезапное сознание долга? Поселив между нами раздор, они сами оставались в стороне, ожидая, кто одолеет: пока Петр был в опасности, они не спешили к нему; а теперь, видя явный перевес на его стороне, они полетели разделить его торжество... о, если я помирюсь с братом, князь Василий, я докажу этим немцам...

– Неужели неблагодарность людская удивляет тебя?

– Не удивляет, а возмущает, меня скорее удивляет, что Петр верит этим немцам...

– Петр нуждается в них, а они в нем, и они будут ему верны, как и нам были верны, пока нуждались в нас. Не из патриотизма же служат они; они служат из выгод и, очень естественно, служат той стороне, которая представляет им больше выгод. Требовать от них любви к России было бы так же безрассудно, как требовать от меня любви к Швеции или к Курляндии, но тем не менее служба их полезна России, и Петр понял это. Гордон, например, имеет большие способности, в Крыму я не раз сожалел, что не взял его с собой.

---

<sup>27</sup> Петр велел объявить царевне, что буде она не повинуется и приедет в лавру, то с ней поступят «нечестно».

– Да, не скоро позабудет он этот отказ: ты увидишь, что при первом удобном случае он поссорит тебя с Петром.

– Я уже и без него в опале, – отвечал князь Василий; и он рассказал царевне о приеме, сделанном им, Петром, накануне.

– Удивляюсь, – сказала царевна, выслушав князя Василия, – что Петр настаивает на выдаче такого ничтожного человека, как этот Щегловитов...

– Что ты говоришь, царевна? Неужели ты такого мнения о Щегловитове? Я решительно не понимаю тебя...

– Я сама себя не понимаю, князь Василий... Я знаю, ты думаешь, что он мне очень дорог... Ты вправе, ты должен так думать... Но это неправда. Могу ли я любить человека, из-за которого мы оба так много страдали? Могу ли я любить человека, за которого ты возненавидел меня?.. С того рокового вечера, как он был здесь... с лейкой, вот почти шесть недель я не спала ни одной ночи: посмотри, какая я стала... и ты думаешь, что он мне дороже тебя!.. – Нервы царевны были в сильном напряжении, слезы градом лились из прекрасных глаз ее... – Эти интриги, заговоры, междоусобия, манифесты, – продолжала она, – мне все опротивело. Если я и была честолюбива, то для одного тебя: я хотела власти, чтоб разделить ее с тобой, князь Василий, еще ребенком я привязалась к тебе; вспомни это; умоляю тебя; не покидай меня теперь; я пропаду без твоей опоры; вся сила моя, вся моя жизнь в тебе одном; поддержи меня; не дай мне погибнуть... прости меня! – Царевна опустила на колени и громко зарыдала.

– Все это чрезвычайно трогательно, – отвечал князь Василий, – что-то в этом роде я помню в мильтоновском «Потерянном рае»...

– Я знала, что ты никогда не простишь, – сказала царевна, выпрямившись, – по крайней мере, не откажи мне в моей последней просьбе. Ты сам предлагал мне это, отправь меня в Варшаву, в Вену, в Лондон... куда хочешь, только поскорее и как можно дальше от Москвы, от этого ненавистного Щегловитова, чтобы глаза мои никогда больше не видели этого человека!..

Дверь отворилась, и в ней показалось красивое, смертельно бледное лицо Щегловитова.

– Позволь, царевна, – сказал он, – позволь этому ненавистному человеку показаться на твои глаза еще раз, и это будет последний; позволь проститься с тобой и сказать тебе два слова не тебе в укор, а в мое оправдание. Я служил тебе верой, правдой и не щадя себя; если я повредил тебе, то не с дурным намерением, а от неумения сделать лучше. Жестоко наказан я за это, а что дальше будет, – Бог знает, и ты узнаешь, царевна. Всю жизнь отдал я тебе, а ты... ты, поиграв мною, бросила меня, как ненужную игрушку... я не умею говорить красно: я ничтожный человек, – ты сама сказала; но этот ничтожный человек умеет любить всей душой; умеет отдать душу свою за того, кого любит... Я не умею, служа тебе, заискивать, на всякий случай, в твоих врагах и кататься из Кремля в лавру и из лавры в Кремль. Не умею, уверяя тебя в преданности, ласкать твоих злодеев, отрешать твоих сторонников и ослаблять твои войска отсылкой целого отряда во вражий лагерь... не умею, наконец, когда любящая меня женщина со слезами умоляет меня протянуть ей руку помощи, отвечать ей холодной насмешкой и сравнивать ее с потерянным раем!.. Прощай, царевна! Прощай навсегда! Через неделю я буду у царя Петра; буду не как преступник с веревкой на шее, а как воин, исполнивший свой долг, как его Нечаев был давеча здесь... Посмотрим, так ли же обласкает и задарит меня твой брат, как князь Василий Васильевич обласкал и задарил Нечаева!

Сказав это, Щегловитов кинул на царевну пронзительный, последний взгляд и, продержав ее под этим взглядом несколько секунд, своей твердой, *капральной* походкой вышел из комнаты.

## Глава IV Опальные

Среди монахов Чудова монастыря долго сохранялось предание о молодом, очень красивом и очень бледном иноке, пришедшем вечером Нового, 1689 года ко всенощной. Отстояв всенощную, он вслед за настоятелем пошел в его келью и вручил ему от имени рабы Божией Софии для монастырской ризницы вклад, состоящий из восьми драгоценных камней. Потом, оставшись с настоятелем наедине, он попросил у него позволения провести в его келье пять дней. На вопрос настоятеля, кто он, из какой обители и кем прислан такой богатый вклад, молодой монах отвечал, что он большой грешник и желал бы покуда оставаться неизвестным; он намерен поговорить в Чудовом монастыре. Через четыре дня он попросил настоятеля принять его исповедь, а до исповеди просить не задавать ему никаких вопросов.

«Видно, в самом деле большой грешник, – подумал настоятель, – или, может быть, влюбленный... тоже большой грех!..»

Монахи помнили, что в течение пробытых молодым пришельцем в монастыре пяти суток он ничего не ел, кроме вынимаемой для него ежедневно просвиры о здравии Софии, и ничего не пил, кроме чарки святой воды во время заказываемого им ежедневно молебна.

На пятые сутки, причастившись за ранней обедней, гость простился со своим хозяином, который проводил его до ограды, поцеловал его и благословил просвирой и образком, снятым с местной чудотворной иконы Михаила Архангела.

– Помни же, что ты примирился со всеми своими врагами, – сказал ему настоятель.

– Со всеми... кроме одного, – отвечал инок, – но этого я не увижу больше и мстить ему не могу, да и не желаю: Бог рассудит нас там!.. Еще у меня одна просьба к тебе, святой отец, обещай мне, что как скоро ты получишь этот образок, ты помолишься об упокоении грешной души моей.

Архимандрит обещал, и Щегловитов, низко поклонившись ему, вышел из монастырской ограды.

В тот же вечер, в мундире шестого стрелецкого полка, при сабле, но уже без камней на рукояти, он явился в Троице-Сергиеву лавру, вошел в караульную при царских покоях и попросил дежурного офицера доложить о нем царю Петру. От дежурного он узнал, что почти все его товарищи, не явившиеся на зов Петра, арестованы, что многие из них повинились и прощены, что другие были подняты на дыбу, признались и приговорены к колесованию и что все, единогласно, обвинили его, Щегловитова, в соучастии с собой.

В то время как дежурный офицер окончил свой рассказ, Щегловитов увидел князя Василия Васильевича Голицына, вышедшего из царского кабинета и окруженного дюжинами-двумя царедворцев, которые с улыбками и поклонами провожали его до последних ступенек крыльца. Ненависть, усыпленная пятидневным постом и непрестанной молитвой, мгновенно проснулась в сердце несчастного стрельца.

«Вот он, – подумал Щегловитов, – настоящий-то государственный человек: и нашим и вашим. Вчера продал меня, нынче продает царевну, а сам сухой из воды вынырнул!»

Но ошибался Щегловитов так же, как ошибались провожавшие князя Василия Васильевича царедворцы; продолжительность беседы его с царем ввела их в заблуждение. Петр продолжал гневаться на князя Василия: он ни о чем не говорил с ним, кроме Перекопского похода и сделанных в этот поход ошибок, а так как ошибок было много, а упреков еще больше, то и аудиенция продолжалась часа два. В упреках Петра, большей частью дельных, князь Василий узнал влияние Гордона и Лефорга. Аудиенция кончилась приказанием князю Василию Васильевичу ехать в свое Медведково и жить там безвыездно впредь до нового распоряжения.

Щегловитов, приговоренный к колесованию с предварительной пыткой, не был, разумеется, допущен до государя; дьяк Деревкин прочел во всеуслышание приговор, *учиненный правдивыми судьями над мятежником и изменником Феодором Щегловитовым*, и несчастного в тот же вечер повели к допросу.

Пытки делятся на два рода, отличающиеся один от другого: на *скороспелые* и на *досужные*. Отличительная черта *скороспелых* пыток – простота необыкновенная: тут всякий инструмент хорош: перочинный ножик, гвоздик или хоть щепочка для вколачивания под ногти; веревка, закручиваемая палкой вокруг головы; даже просто палка без веревки или просто веревка без палки. Необходимо только одно условие: чтобы пытающие были физически хоть немножко сильнее пытаемых.

Поясним это примером.

Разбойники вламываются в дом, в котором спрятано много денег. Хозяин уверяет незваных гостей, что они ошибаются, считая его богатым; что он, напротив того, очень бедный человек и что он даже не понимает, о каких деньгах его спрашивают. Порыться, отыскать деньги и уличить недобросовестного хозяина во лжи было бы, конечно, для гостей приятно, но это потребовало бы много времени, а гости временем дорожат: неровен час, кто-нибудь придет и помешает поискам; гораздо проще зажечь лучинку и переносить ее от руки недобросовестного к ноге его, от ноги – к шее и от шеи – куда попало. Вся операция продолжается минуты две или три, по истечении коих хозяин обыкновенно вспоминает и указывает, где спрятаны его деньги.

Далеко не так прост *досужный* род пытки: тут сила пытающих имеет большой перевес над силами пытаемых; тут временем не дорожат: не боятся, что неожиданные посетители помешают допросу; тут действуют открыто, систематически, согласно существующих узаконений: машины самой изящной отделки приспособлены как нельзя лучше, как нельзя целесообразнее; дверь от застенка – резная, с позолоченной ручкой; дыба из дубового дерева, тщательно отполирована; кровать железная и с железной доской вместо матраца, а под кроватью котел, нагревающий воду до требуемой законом температуры...

Но вернейшими для признания, для открытия истины средствами считались всегда, из досужных родов пытки, голод и жажда.

Приведем и тут практический пример.

Щегловитова в сопровождении дьяка Деревкина и четырех приставов-сыщиков прямо из дворцовой караульни привели в тюрьму, и Деревкин, подавая ему лист бумаги, исписанный вопросами, объявил, что дверь тюрьмы отворится только через трое суток, что к тому времени на всякий вопрос должен быть написан ответ четкий, ясный и без околичностей, что, в противном случае, дверь тюрьмы затворится опять на целые сутки и что, покуда ответы, все до одного, не написаны, узнику не дадут ни есть, ни пить.

Щегловитов возразил, что за ответами его дело не станет, что он готов написать их сейчас же, что пытать его незачем, а можно вести прямо на казнь.

– Это все так говорят, – отвечал Деревкин, – все так говорят, когда дело дойдет до пытки, а нам строго запрещено слушать такие вздорные отговорки и о них докладывать начальству... Итак, помни же, в понедельник вечером мы придем опять, не спеша своими ответами; обдумывай их хорошенько и сперва пиши начерно: в три дня небось не очень отощавешь!..

Уже *отощавший* от пятидневного говения Щегловитов чувствовал себя очень слабым не столько, может быть, от голода, сколько от перспективы голодать еще трое суток. Он не сомневался, что с ним все покончено, что пощады ждать ему нечего, и по уходе Деревкина со свитой первая его мысль была – разбить себе голову о стенку или о чугунную решетку, отгораживавшую один из углов тюрьмы и изнутри загадочно обтянутую занавесом.

«Но, – подумал он, – поутру приобщиться Святым Тайнам, а вечером положить на себя руку; поутру принять тело и кровь Того, кто так много страдал за меня, а вечером не хотеть

пострадать самому!.. Потерплю до конца: чем больше потерплю здесь, тем больше мне там простится...»

Он принялся за данную ему работу; в тюрьме было довольно светло, что можно было читать и писать в ней.

На вопрос, имел ли он намерение посягнуть на свободу царя Петра Алексеевича, он отвечал: «Имел».

На вопрос, имел ли он намерение посягнуть на жизнь царя Петра Алексеевича, он отвечал, что не имел; подчиненным своим он запретил обнажать сабли даже в том случае, если царь будет защищаться.

На вопрос, если он имел подобные святотатственные умыслы, то что побудило его к оным, он отвечал, что побудило его желание доставить царю Иоанну Алексеевичу, которому он столько обязан, престол без раздела с царем Петром Алексеевичем, который к нему, Щегловитову, никогда не благоволил.

На вопрос о сообщниках его в этих злодеяниях Щегловитов переписал имена всех уже попавшихся и признавшихся стрелецких офицеров.

На вопрос, какое участие принимала в этом деле царевна София Алексеевна и если о нем ведала, то не приказывала ли она Щегловитову отказаться от своего злого умысла, он отвечал, что царевна ничего о его намерении не знала, что она даже, сколько он мог заметить, охотно отказалась бы от власти, которой царь Петр Алексеевич хотел лишить ее, но что он, Щегловитов, сам задумал удержать за ней эту власть, ему покровительствовавшую, рассчитывая в случае успеха на прощение царевны. «А благородная-де государыня царевна София Алексеевна, – прибавил он, – о моем оном замысле и о имевшейся быти несподзянке ровно ничего не ведала».

«Если это грех, – подумал Щегловитов, – то Бог простит мне его».

Следовало несколько вопросов о прощении, поданном царевне москвичами, о приготовлениях к ее коронованию, о сочинении манифеста...

Окончив работу и поднявшись, Щегловитов вдруг почувствовал легкий удар в щиколотку левой ноги; он дотронулся до него и ощупал между подкладкой и сукном мундира что-то, завернутое в бумагу. Он вспомнил, что утром, снимая монашескую рясу, он положил в карман мундира образок и просвиру, данные ему чудовским архимандритом.

Никакому лукулловому пиру не обрадовался бы Щегловитов больше, чем он обрадовался этой просвире; он разломил ее на две половинки; одну из них зарыл в солому своей постели, а другую съел. «Каким чудом, – подумал он, – просвира эта уцелела от рук сыщиков?...» Образок, представлявший архистратига Михаила, как будто отвечал на этот вопрос.

Пужинав, Щегловитов пробежал свою работу и остался ею доволен.

– Кажется, хорошо, – сказал он, – больше ничего не нужно, да и лишнего ничего нет... а это что такое? Еще что-то написано...

Действительно, оставался еще один вопрос, очевидно приписанный впоследствии, второпях, другими, бледными, чернилами и другой, очень нечеткой, рукой.

«Какое участие, – был вопрос, – принимали князь Василий Васильевич Голицын и сыновья его в вышеперечисленных пребеззаконных кознодействиях?»

«Странный вопрос! – подумал Щегловитов. – Если бы Голицыны участвовали в заговоре, то или они были бы здесь со мною, или я бы был там, с ними... А стоило бы удружить *государственному человеку*; хоть немножко запутать бы его; благоприятелей у него много при дворе; помогут, из ничего что-нибудь состряпают и притянут к допросу... да нет, из ничего ничего и останется, только себя осрамишь; скажут, из мести оклеветал... мстить, клеветать, и в такой день!.. Откуда такие гадкие, такие грязные мысли рождаются в человеке?..»

Щегловитов еще раз прочел вопрос:

«Какое участие... в пребеззаконных кознодействиях?..»

– Станный вопрос! – повторил он. – Должно быть, какой-нибудь приятель постарался... И твердой, четкой рукой Щегловитов написал против вопроса: «Никакого».

Проснувшись на следующее утро очень голодным, он чуть было не нарушил данного самому себе обещания даже не смотреть до захода солнца на оставшуюся половинку просвиры. Чтоб выдержать характер, он отошел подальше от постели, подошел к чугунной решетке и начал разглядывать с большим вниманием живопись занавеса за решеткой: живопись немецкой работы, но лубочная, изображала разные яства. Вглядевшись в нее поближе, Щегловитов догадался, что цель живописца была – возбуждать аппетит в тех, кто будет смотреть на его картину; но цель эта не достигалась: калачи, например, были больше похожи на собачьи ошейники, чем на калачи; зернистая икра была похожа на дурно смолотый нюхательный табак; а сосиски под соусом были написаны с таким искусством, что попадись такие же сосиски в натуре, то самому голодному человеку в мире не придет в голову до них дотронуться.

Щегловитов попробовал просунуть руку сквозь решетку: проходили только два пальца, и те на вершок не доставали до картины. Он начал ходить по камере взад и вперед, назначив круг своих прогулок как можно дальше от кровати...

День прошел: длинный, томительный. Как только начало смеркаться, Щегловитов изменил направление своих прогулок и стал ходить от решетки к кровати и от кровати к решетке. Походив минут пять в этом направлении, он остановился у кровати и стал боязливо озираться вокруг себя. «Лучше погодить, пока совсем стемнеет, – подумал он, – а то, пожалуй, из-за решетки наблюдают за мной, пожалуй, отнимут мою просвиру: жалости эти люди не знают. А что бы им, кажется? Из чего?.. На их месте я бы потихоньку принес хлебца голодному...» Он лег на кровать, пошарил в соломе и, вытащив из нее свой клад, разделил его опять на две половинки и опять одну спрятал, а другую разломал на десять кусочков и начал есть медленно, с маленькими промежутками между каждым кусочком.

– Как вкусно! – сказал он, проглотив десятый кусочек и не спуская глаз с места, где спрятана была последняя четверть. – До нее, – прошептал он нетвердым голосом, – не дотронусь до завтрашнего полудня.

Жажда не мучила его: желудок, привыкший довольствоваться ежедневной чаркой воды, не требовал настоятельно этой чарки, но голод становился невыносимым... Щегловитов попробовал заснуть, и заснул действительно так крепко, что не видал и не слышал, как и когда осветилась его тюрьма.

Проснувшись, он опять прочел свои ответы и опять остался ими доволен...

– Желал бы я знать, который теперь час, – сказал он, – должно быть, и пяти нет... До полудня долго ждать... Нет ли еще чего-нибудь в мундире? – Он обыскал мундир. – Нет, ничего нет! В рясе, может быть, остались какие-нибудь крошки, хоть бы их сюда! – Он начал шарить в соломе. – Ну а потом что будет?.. Что б ни было, а хуже не будет, – отвечал он сам себе и вынул свой последний запас. – Зато смотрите все, кто хочет, – закричал он, обращаясь к решетке, – смотрите, как смело я ем просвиру; да, ем и не боюсь вас, попробуйте-ка отнять ее у меня!.. Попробуйте-ка!..

И он съел свой кусочек просвиры с такой поспешностью, как будто в самом деле ее у него отнимали.

– Очень вкусно! – сказал он вслух, поддразнивая своих мнимых, а может быть и действительных, надсмотрщиков. – Этот чудовской просвирик мастер своего дела!.. Теперь бы опять соснуть немножко.

Когда он проснулся во второй раз, солнце ярко светило, ударяя в таинственную решетку раздробленными оконной перегородкой лучами и освещая изображенные на занавесе яства.

«Должно быть, полдень, – подумал Щегловитов, – не есть бы мне давеча, а поесть бы лучше теперь... каково так до завтрашнего вечера дожидаться!.. Хоть бы водицы выпить!..»

К вечеру жажда сделалась так сильна, что почти заглушила голод. Щегловитов почувствовал озноб во всем теле и впал в дремоту, похожую на обморок: то ему грезилось, что он пьет брагу и заморские вина, то, что после сытного обеда он купается в Москве-реке и выпивает сразу так много, что недостает воды для купания; то, что он тушит пожар и что горячее полено упало ему на грудь... вдруг ему пригрезилось, что занавес за решеткой зашевелился, подернулся волнами, взвился на воздух и открыл стол, ярко освещенный шестью восковыми свечами и обильно убранный самыми разнообразными, не на полотне нарисованными, а настоящими яствами: тут была и осетрина белая, как бумага, и жареная, огромного размера индейка, и дымящаяся, разрезанная на большие куски кулебяка, и только что поспевшие крупные яблоки, и розовые астраханские арбузы, и разные напитки: брага, мед, шипучие вина в кубках, наливки в плетеных бутылках.

– Вот так сон! – сказал Щегловитов, и, вскочив с постели, он, как сумасшедший, подбежал к решетке.

Сон – была действительность: если бы Щегловитов мог не верить глазам своим, то он должен был бы поверить обонянию: вкусный пар кулебяки ударил ему прямо в нос.

Щегловитов еще раз попробовал просунуть руку сквозь решетку: палец не доставал вершка на три до кубка с пенящейся брагой... Щегловитову и в голову не пришло, что если за ним наблюдали давеча, когда он ел просвиру, то теперь наблюдают и подавно...

– Дай Бог силы! – сказал он и, схватившись за два прута решетки, рванул их изо всей мочи. Один из прутьев слегка, чуть-чуть раздвинулся, но выдержал напор. Щегловитов вцепился в него обеими руками, пошатал его направо и налево, к себе и от себя. Чувствуя, что прут поддается, он с удесятерившейся от отчаяния или от надежды силой приподнял его кверху. Прут заколебался, погнулся, запищал и с треском вылез из нижней сваи, вытаскивая за собой кирпич.

В мгновение Щегловитов выбил еще два прута, перелез через решетку, выпил залпом полкружки браги и заел ее осетриной. Потом он допил брагу, съел кусок кулебяки и, усевшись на мягкое кресло, стоявшее перед накрытым столом, принялся за индейку и за вина.

Он не мог прийти в себя от восхищения и в это время не думал ни о чем, кроме еды и питья. Будущее начало существовать для него только тогда, когда он наелся досыта, и первая его мысль была – страх за будущее. Так голодный лев готов растерзать и тигра и леопарда, сытый лев боится напасть даже на безоружного человека.

«Сейчас придет Деревкин, – подумал Щегловитов, – решетку починят, опять завесят ее картиной с сосисками, а я опять голодай!.. Запасусь-ка чем-нибудь на всякий случай, а там посмотрю, куда ведет вот эта дверь...»

Он сложил в кучку запас, достаточный, казалось бы, для пяти человек на целую неделю, и собирався уже нести его в свою кладовую, как дверь тюрьмы заскрипела, и в нее вошел Деревкин в сопровождении четырех приставов и еще одного нового лица.

В этом шестом посетителе Щегловитов узнал окольного князя Михаила Никитича Львова, председателя следственной комиссии по делу о последних стрелецких смутах.

– Ба! Федор Леонтьевич, – сказал князь Львов веселым голосом, – ты, кажется, уже поужинал и меня не хотел подождать.

Щегловитов стоял сконфуженный, как будто в самом деле виноватый.

– Я очень проголодался, князь Михаил Никитич, – отвечал он, – и не выдержал...

– Вижу, аппетит у тебя благословенный: неужели от индейки только и остались эти две кости?..

Большая часть индейки лежала под креслом, в провизии; но Щегловитов не счел нужным говорить о ней.

– Здесь и без индейки осталось довольно, – отвечал он. – Вот пирог, осетрина, две непечатые курицы («Напрасно не прибрал я одной», – подумал он), арбузы, яблоки... – И, взяв одно яблоко, он в два глотка проглотил его, как будто желая этим доказать, что он съел совсем не так много, как казалось.

– Оставь нас, – сказал князь Львов Деревкину, – мне надо переговорить с Федором Леонтьевичем.

– Не прикажете ли, твоя княжеская милость, составить протокол о разбитии решетки? – спросил Деревкин.

– Не надо протокола: я до протоколов твоих не охотник; завтра велишь починить решетку – и концы в воду. По-настоящему следовало бы с тебя с первого взыскать за то, что решетка гнилая, что ты недосмотрел... Ну, да Бог с тобой, убирайся со своими молодцами, и, чур! к слуховому не подходить и в расседину<sup>28</sup> не глазеть!

Деревкин с *молодцами* вышел; князь Львов проводил их за дверь, а Щегловитов, – куда ни шло, – воспользовался своим минутным, может быть, одиночеством, чтобы перенести провизию из-под кресла в солому.

Когда князь Львов возвратился в тюрьму, Щегловитов сидел уже на своем прежнем месте, за столом, и с самой невинной миной допивал стакан вишневки.

– Ну, поговорим теперь, Федор Леонтьевич, поговорим по-приятельски, я принял предосторожности, чтобы нас не подслушивали.

В течение своей долголетней службы Щегловитов часто встречался с князем Львовым то по службе, то на пирах, то при дворе. Идя разными дорогами и не имея общих интересов, они никогда не ссорились между собою и были скорее в хороших, чем во враждебных отношениях. Кроме того, Щегловитов знал, что князь Василий Васильевич Голицын не любит князя Львова, и уже это одно давало князю Львову право на расположение Щегловитова.

– Ты понимаешь, Федор Леонтьевич, – сказал князь Львов, – как мне неприятно, как прискорбно быть председателем следственной комиссии и начальником тюрьмы, в которой тебя подвергают такой жестокой пытке! Таковы необходимые следствия междоусобий: брат идет на брата, сын на отца, и никто уступить не хочет, а иногда и не может. Что я не имею к тебе вражды, ты видишь уже из того, что для тебя я нарушил долг службы, придя сюда на сутки раньше, чем следовало бы... Не время нам разбирать теперь, чье дело правое: я стою за царя Петра и вижу в нем залог будущего могущества России, ты предпочитаешь партию правительницы и стоишь за отжившее министерство князя Василия Васильевича Голицына. Он, конечно, великий министр, он государственный человек...

– Я! Стою за Голицына? – прервал Щегловитов. – Кто это выдумал и кто поверит этому? Я присягал царю Ивану и царевне...

– Ты присягал также царю Петру Алексеевичу.

– Правда! Но тем я присягнул прежде, и когда между братьями начался разлад, мне не было причины перейти от старшего к младшему: царю Ивану и царевне я обязан всем, а этот... морит меня голодом... вот, князь Михаил Никитич, прочти ответы мои: в них все объяснено.

Князь Львов начал вслух читать ответы, одобрительно качая головой до тех пор, пока не дошло дело до участия, принимаемого в заговоре царевной. Тут он остановился и сказал Щегловитову:

– Вот, Федор Леонтьевич, до сих пор все хорошо и правдиво, а тут ты покривил душой, сам посуди: может ли царь Петр Алексеевич поверить, что царевна ничего не знала о твоих намерениях и что ты готовил ей *неподзянку*?

Брага, смешавшаяся в отошлом желудке Щегловитова с винами, медом и наливками, начинала действовать: голова его отуманилась и отяжелела.

---

<sup>28</sup> Рассединой называлась едва заметная щель, сделанная в стене для наблюдения за узниками.

– Верь не верь, – сказал он, – а я хоть сейчас присягну, что сам не знаю, чего хотела царевна: нынче одно, завтра другое... Я всегда скажу и должен сказать: действовал сам по себе, без ее приказаний... не веришь, князь? – как хочешь, а я правду говорю...

Щегловитов выпил еще полстакана вишневки.

– Ну-с, – продолжал он, – славная наливка... я говорил, что не разберешь, чего желала царевна; положим, она и желала, чтоб мне удалось, чтоб были прошения от народа и чтоб манифест был... ты смотри, князь, никому не говори, что она желала... я и сам не говорю этого... так что ж? Мне выдавать ее Петру?.. За доверие ее мне заплатить изменой?.. Да на что она ему?.. Не казнить же ее, не голодом морить!..

– Да вот ты так говоришь, Федор Леонтьевич, а друг твой, твой благодетель, говорит совсем другое...

– Какой благодетель?

– Да князь Василий Васильевич, он сказал царю, что без приказания правительницы ты бы никогда не отважился на такое дело.

– Я знаю, что... эта лисица ненавидит царевну; но чтоб она была способна выдать ее, – это уже слишком низко, это невозможно!

– Эх, брат Федор Леонтьевич, – плохо знаешь ты после этого людей, сам говоришь лисица, а не способна, говоришь; да на что лисица не способна?.. Что это ты все один пьешь? Поднеси и мне стаканчик.

– Извини, князь, за бесчинное обращение, – сказал Щегловитов, подавая своему собеседнику стакан вишневки, – может быть, завтра опять голодать придется, так я запасуюсь.

– Завтра голодать не придется тебе, Федор Леонтьевич, а видишь ли, я говорю тебе не как начальник Судного приказа, а как старый приятель, скажи всю правду царю Петру, и он пощадит тебя, твоя голова не нужна ему.

– И мне не нужна голова моя, кабы мне ее отрубили третьего дня, поверь, для меня лучше бы было... мне только и житья, что теперь, пока пью наливку, жизнь мою они отравили, совсем разбили. Если я жив останусь, осрамлюсь перед ней. Я сказал ей: иду на плаху, как же мне вернуться живым!.. Однако ж я говорю что-то не то... Читай остальные ответы, князь Михаил Никитич.

Дойдя до последнего лаконичного ответа: «Никакого», князь Львов опять обратился к Щегловитову:

– Вот и этому трудно поверить, Федор Леонтьевич: как ни старается князь Василий Васильевич впутывать других, чтоб выпутаться самому, а что-то невероятно, чтоб он не знал о вашем заговоре. Что ж он за первый министр, если у него под носом могут твориться такие дела и он ничего не знает о них?.. Ты скажешь, он был болен... Нет, брат, он ловок, он и захворать кстати умеет. Недаром он отстаивает тебя и выдает царевну, значит, надеется на твою благодарность, надеется, что и ты не выдашь его... Оно так и вышло...

– Отстаивает меня и губит царевну? И ты называешь его моим благодетелем!.. Если б только было у меня малейшее сомнение... если б только я мог думать, что он знал о нашем предприятии и прикидывался... то я бы доказал этому благодетелю!..

– Малейшее сомнение! – прервал князь Львов. – Если б ты мог думать!.. Да разве ты не слыхал, как он поощрял царевну короноваться, как он предлагал ей разделить с ней престол? Об этом вся Москва говорит.

– Это... я действительно слышал, – слышал своими ушами... но царевна не соглашалась...

– Так и можешь написать: царевна не соглашалась, а он, мол, предлагал... Тогда царевна спасена; тогда царевна уже не будет думать, что ты заодно со своим покровителем погубил ее... Впрочем, делай как знаешь: ответы твои, пожалуй, и так хороши, только подпиши их.

– Да как же переменить последний ответ, если он тебе не нравится, князь? Поправок делать не велено.

– Во-первых, я не сказал, что он мне не нравится, Федор Леонтьевич; а во-вторых, тут и без поправок обошлось бы дело: только приписать бы несколько строчек... жаль, что так поздно, мне спать пора, завтра рано вставать, а то я бы помог тебе, пожалуй...

– Пожалуйста, помоги, князь, напиши начерно, а я перепишу...

– Да нет же, Федор Леонтьевич, я говорю тебе, ответы и так хороши: что за беда, что царь Петр Алексеевич поссорится с царевной? Брат и сестра: нынче поссорятся, завтра помирятся.

– Об одном прошу тебя, князь, не зови его моим благодетелем... ну вот, пожалуй, вот тебе бумага и перо: пиши ответ, князь...

– Ну, Федор Леонтьевич, для тебя только!.. Как бы устроить, чтоб это *никакого* не помешало нам...

Князь Львов взял чистый лист бумаги, подумал немножко и написал:

«Никакого доказательства участия князей Голицыных в последних смутах я представить не могу, но я знаю, что хотя первый министр как будто и затруднялся, куда девать царей Иоанна и Петра Алексеевичей, однако ж честолюбивые замыслы его известны всем, и неоднократные предложения, делаемые им царевне Софье Алексеевне о вступлении с ним в законный брак и о захвате царского венца, достоверно доказывают, что если б заговор против царя Петра Алексеевича удался, то Голицыны первые пожали бы плоды предпринятого стрельцами государственного переворота, хотя, – повторяю, – они явно в нем и не участвовали. К сим ответам, по всей справедливости данным, руку приложил такой-то. Вот и все...»

– Что ж ты не написал, князь, – спросил Щегловитов, – что царевна отказывалась от предложений первого министра и что она ничего о нашем заговоре не знала?

Князь Львов прибавил:

– Царевна же на все мятежные предложения первого министра отвечала положительным отказом и строгим запрещением повторять их... Так ли?

– Так, но еще я не понимаю, князь, – сказал Щегловитов, – зачем ты написал: «*Неоднократные предложения*». Я всего слышал один раз... и то...

– Это так: канцелярская форма, для округления речи... да и то подумай: если ты раз слышал, то, вероятно, двадцать раз не слышал: такие предложения при людях не делаются.

– Однако ж...

– Мне домой пора, Федор Леонтьевич, спать хочется, а ты со своим *однако ж*... Не хочешь, не приписывай этого; мне-то из чего хлопотать?.. И так сойдут твои ответы; только подпиши их скорее. А мне урок: впредь не вмешивайся в чужие дела и не трудись по-пустому! – И, разорвав свой труд на четыре куска, князь Львов бросил их на пол.

– Вот уже ты и рассердился, князь, – сказал Щегловитов, собрав разлетевшиеся по комнате куски и прилаживая их один к другому, – хорошо еще, что они так счастливо разорвались: прочесть все можно... – Щегловитов, покачиваясь, возвратился на свое место. – Ты не думай, князь, – сказал он, – что я... того... и что я не в состоянии понять твое одолжение... нет, я только хотел сказать... ну, опять сердись!.. не буду, говорят, спасибо тебе, сейчас же все перепишу, слово в слово перепишу... рука что-то трясется у меня: плохо пишется...

– Ну вот, так ли я написал? – спросил Щегловитов, подписав свои ответы и передавая их князю Львову.

– Пожалуй, хоть так, – равнодушно отвечал князь Львов, – мне теперь, правду сказать, не до твоих ответов: смерть спать хочется... Завтра, если буду у царя, доложу ему о твоём чистосердечном признании, и он, верно, смягчит твою участь... Покуда посиди здесь: пытка твоя, разумеется, кончена, кушай на здоровье все, что пожелаешь.

– Теперь не хочется, а вот завтра, если позволишь...

– Сколько угодно, – отвечал князь Львов, – да ты при случае и без позволения обходиться умеешь, – прибавил он, смеясь. – Прощай же, Федор Леонтьевич, мочи нет спать хочется!..

Как ни хотелось спать князю Львову, он, однако ж, в тот же вечер отправился к царю Петру и передал ему ответы Щегловитова. В последнем ответе поразило Петра то же, что поразило и самого Щегловитова: слово *неоднократные*. Петр знал, что если доктор Гульст и многие домочадцы царевны могли быть свидетелями честолюбивого бреда князя Василия Васильевича, то Щегловитов и подавно мог слышать его; но отчего ж *неоднократные* предложения? И это написал человек обязанный, преданный первому министру, человек, не боящийся казни, человек, которого князь Голицын отстаивал против Петра и из-за которого сам попал в немилость... Петр тут же послал в Медведково гонца с приказанием князю Василию Васильевичу и сыновьям его явиться к следующему утру в лавру.

Князь Львов, оставаясь с царем до поздней ночи, рассказал ему подробности пытки Щегловитова с маленькими, впрочем, от истины уклонениями: так, умолчав о разбитой решетке, об участии своем в написании последнего ответа Щегловитова, о столь искусно разожженной ненависти его к князю Василию Васильевичу Голицыну, о большом количестве выпитой вишневки и о разных бесполезных, по мнению князя Львова, мелочах, он вкратце рассказал царю, что когда он пришел в тюрьму, то Щегловитов, еще не очень голодный после двухдневной диеты, попросил, однако ж, поужинать, обещая после ужина показать всю истину; что и до ужина и после Щегловитов говорил одно и то же, то есть улики против заговорщиков так явны, так неоспоримы, что он считал бы бесполезным опровергать их, если б даже и имел какую-нибудь выгоду показать неправду. Считая своих сообщников далеко не так виновными, как самого себя, он смеет надеяться, что царь их помилуется, что для себя он пощады не просит и не желает и что уж из этого можно заключить, что показания его не вынуждены ни пыткой, ни надеждой на помилование, а написаны добровольно и по чистой совести.

На другой день князь Василий Васильевич Голицын, поспешивший с сыновьями на зов царя Петра, был у подъезда царских покоев остановлен дежурным офицером, и на том же самом крыльце, до которого три дня тому назад царедворцы так подобострастно, так раболепно провожали князя Василия Васильевича, и в присутствии тех же царедворцев прочтен указ, которым он со всем своим семейством ссылается на поселение в Каргополь Олонецкой губернии. Причины этого неожиданного наказания подведены были: два неудачных похода в Крым, отступление, с большим для казны убытком, от Перекопа, незаконные доклады царевне помимо великих государей, печатание ее имени в титулах и изображение лика ее на государственных монетах.

Как ни несправедлив был приговор этот уже и тем, что за ошибки, сделанные главнокомандующим, наказывались его сыновья; как ни несправедливо вообще наказывать военачальника, не уличенного в измене, за неудачи, претерпленные им в походах и сражениях, однако ж врагам его это наказание показалось строгим; они видели, что князю Василию Васильевичу слишком легко оправдаться от таких неосновательных обвинений, и предприняли все возможное, чтобы убедить царя Петра дать ход показаниям Щегловитова.

Не стоит описывать все сети, так ловко расставленные царедворцами, достаточно сказать, что сам Петр не остерегся их. Поколебленный наветами, исходящими из разных источников и от лиц, по-видимому враждующих между собой, Петр назначил над Голицыными строжайшее следствие, и до окончания этого следствия все имения их, как родовые, так и приобретенные на службе, были взяты в казну, а им, вместо Каргополя, велено отправиться в Яренск Вологодской губернии.

Никогда *великий* Голицын не был так велик, как в ту минуту, когда дьяк Деревкин прочел ему новый указ царя Петра. Он даже не пробовал оправдываться, и когда брат его, князь Борис Алексеевич Голицын, начал умолять его, чтобы, выпросив аудиенцию у царя, он разрушил

козни своих клеветников, князь Василий отвечал, что он слишком возмущен такой вопиющей несправедливостью, чтобы до окончания следствия просить у Петра чего бы то ни было.

Отъезд Голицыных в простых ямских кибитках и с конвоем в двадцать солдат назначен был на 12 сентября, то есть на следующий день после объявления им приговора.

В то же утро 12 сентября, в восьмом часу, вывезен был на казнь Щегловитов, сопровождаемый дьяком Деревкиным со своими четырьмя *молодцами* и маленьким отрядом стрельцов Сухарева полка. Начальником отряда этого был, случайно ли или умышленно, Нечаев. По личному и настоятельному ходатайству князя Львова царь смягчил казнь преступника: вместо колесования, велено было отрубить ему голову.

Щегловитов, обрадованный этой переменой, изъявил желание идти до места казни пешком.

– Дабы все видели, что у меня не трясутся ноги, – сказал он.

Он подал знак Нечаеву, чтобы тот подъехал к нему поближе и попросил его сойти с лошади и тоже идти пешком, рядом с ним.

Нечаев, грустный и взволнованный, передал своего коня ехавшему за ним стрельцу и подошел к Щегловитову.

– Ты жалеешь меня, Петр Игнатьевич, – сказал ему Щегловитов, – спасибо тебе, я знал, что ты не злой человек. Я тоже не злой человек. Я желал бы помириться с тобой и попросить у тебя услуги: я всегда был хорошим товарищем и справедливым начальником, – прибавил Щегловитов с самодовольной улыбкой, – правда?

– Правда, Федор Леонтьевич, и все, что ты прикажешь мне теперь, будет мною свято исполнено.

– Ты, пожалуйста, не думай, что я тебя когда-нибудь ненавидел, – продолжал Щегловитов, – это выдумал князь Василий Васильевич Голицын, я, напротив, очень любил тебя. Ты, может быть, думаешь, что он спас тебя во время пирушки на Новый год? Он спас тебя от мнимой опасности, вспомни, какое было время: стрельцы наши десятками перебежали к вам, надо было страхом удерживать их, а тут ты еще приехал мутить. Я должен был присудить тебя к казни, и ты молодцом шел на нее, как и я теперь... И неужели тебя не удивило, что не нашлось топора? Чтоб отрубить голову человеку, топор всегда найдется; теперь небось за топором дело не станет.

– Зная тебя, Федор Леонтьевич, я сам удивился тогда твоей жестокости и твоей несправедливости, а князь Василий Васильевич положительно не верил ей.

– Какая же, говорят тебе, жестокость, коль во всем Кремле топора не нашли? А молодецкая была тогда твоя осанка: весь оборванный, а молодцом стоял ты... люблю молодцов! – Щегловитов говорил так же хладнокровно, так же спокойно, как когда он, бывало, хаживал в сражения; до места казни оставалось меньше полуверсты, и мысль, что через каких-нибудь десять минут он покончит с несносной для него жизнью, так мало устрашала его, что на него нашло сомнение, не грех ли перед смертью морочить голову людям, щеголяя своею храбростью, когда так легко расстаешься с жизнью. – Вот тебе моя просьба, Петр Игнатьевич, – продолжал Щегловитов. – Как скоро все будет кончено (пожалуйста, замолви палачу словечко, чтобы он хорошенько отточил топор, я подожду); как скоро все будет кончено, поезжай отсюда прямо в Чудов монастырь и отдай настоятелю отцу Антонию вот этот образок.

– И больше ничего?

– Больше ничего.

– Обещаю исполнить твою волю, Федор Леонтьевич, но позволь мне отложить эту поездку до завтра; нынче я должен ехать проститься с князем Василием Васильевичем Голицыным и его семейством...

– Куда это они уезжают? В свои наместничества?

– Нет, не в наместничества, а в ссылку, в Яренск.

– Это за что?

– Преступления их никому не известны, в приговоре написано бог знает что, а сколько я слышал, старого князя обвиняют в сообщничестве с царевной, в потворстве тебе и, главное, в намерении отправить вас обоих в Польшу, у старшего сына его, князя Михаила Васильевича, нашли паспорта, совсем готовые для вашего отъезда.

– Никогда не было ничего похожего на это, – отвечал Щегловитов. – Кто это все выдумал?

– Что это не выдумка, я тебе ручаюсь, Федор Леонтьевич, я сам слышал разговор царя Петра Алексеевича с князем Василием Васильевичем, когда он приехал к нему в первый раз после болезни, я был в тот день дежурным и сидел в маленькой комнатке около царского кабинета.

И Нечаев рассказал, как накануне Нового года князь Василий Васильевич попал в немилость к царю за то, что советовал царевне не выдавать Щегловитова. «Вследствие этого-то разговора, – прибавил он, – царь и послал меня в Кремль требовать вашей выдачи».

– Ты говоришь, что он хотел спасти царевну, что он хотел отправить ее со мной в Польшу, что уже готовы были паспорта, – сказал Щегловитов, внезапно побледнев. – А я-то!

Он остановился шагах в пяти от плахи и знаком подозвал Деревкина.

– Составь протокол, – сказал он ему, – я хочу сделать еще одно, очень важное показание.

– Это все так говорят, – отвечал Деревкин, – все так говорят, когда дело дойдет до казни, а нам строго запрещено слушать эти вздорные отговорки и докладывать о них начальству, уж и то поблажка, что вы шли рядом и так долго разговаривали между собой.

– Да мне необходимо, – сказал Щегловитов.

– Мало ли что, всем необходимо, – отвечал Деревкин, – а говорят, не велено, так и толковать долго нечего...

Щегловитов, понутив голову, подошел еще на два шага к палачу.

– Слушай же, Петр Игнатъевич, – сказал он Нечаеву, – когда ты отдашь образок отцу Антонию, не забудь сказать ему, что я не исполнил данного мною ему обещания, что я отомстил моему врагу, этого мало, прибавь, что враг этот был мой друг, что он хотел сделать меня счастливейшим человеком в мире и что я... я оклеветал его!

Минуту спустя голова Щегловитова, поднятая палачом за кудри, была с криками вырвана у него из руки и положена вместе с туловищем в гроб. И тело усопшего без военных почестей, но с горячими молитвами предано было земле бывшими его товарищами.

Стрельцы тихо и в молчании возвращались в лавру, а Деревкин со своими приставами нагнулся над свежей могилой, вынул из кармана походную чернильницу и составил протокол:

*«Из него же явствует, яко полковник Нечаев, до места казни преступника Шакловитова сопровождавший, в протяжении всего пути шел обак означенного преступника и зело много с ним говорил; прочие же стрельцы помяли нетокмо совершителя казни оной, но и его самого, сиречь дьяка Деревкина, в чем он, за скрепою старшего своего пристава, и руку приложил».*

## Глава V

### Оправдание и новый донос

Проводив Голицыных до первого привала, простившись с ними и попросив сопровождавшего их офицера, лично от себя, *по дружбе*, обращаться с опальными как можно снисходительнее, Нечаев возвратился в лавру, сменил лошадь и, не откладывая до следующего дня, даже не отдохнув, отправился в Москву – к архимандриту Антонию. Кстати, ему надо было собрать к готовящемуся царскому поезду из села Алексеевского в Кремль своих разбредшихся по Москве стрельцов.

«Жаль Федора Леонтьевича, очень жаль, – думал Нечаев дорогой, – хороший был человек, и не так следовало бы умереть ему!.. Впрочем, он сам хотел этого: князь Львов, говорят, просил за него царя, и царь соглашался на ссылку его в Сибирь, да что ссылка! Разве Голицыным теперь лучше, чем Щегловитову?.. Что бы означал этот образок? Зачем он нужен чудовскому настоятелю?.. И что означали последние слова покойника: оклеветал друга!.. Он не мог оклеветать: в показании его на Голицыных нет никакой клеветы, да в нем и нового ничего нет, сам царь говорил со старым князем о скипетре и о короне, и говорил шутя, не сердясь... Да и зачем архимандриту знать, что покойник отомстил врагу или оклеветал друга?.. Нет, я архимандриту этого не скажу, я этого не обещал, образок я должен отдать ему, а этого не скажу... Уж если передать кому-нибудь последние слова Федора Леонтьевича, так самому царю Петру Алексеевичу, тут, по крайней мере, будет польза, а то что архимандрит?.. Что может сделать архимандрит для князя Василия Васильевича Голицына!.. Не его, а мое дело довести до царя правду и обличить ложь. Тут нечего бояться, царь правду любит, хоть и редко она доходит до него... Что там ни говорил, что ни думал покойник, а князь Василий Васильевич избавил меня не от мнимой опасности... да хоть бы и от мнимой!.. Бог знает, чем бы развязалась эта игра с пьяной и разъяренной чернью! Ух! Как я боялся тогда! Храбрился, никому и виду не показал, что боюсь, а ужасно боялся! Нет, не мнимая была эта опасность! А лошадь-то, а кафтан, а сабля! И как все это дано!.. Такие услуги не забываются, и долг мой – отплатить за них...»

Так думал Нечаев всю дорогу от Троицкой лавры до Чудова монастыря. Когда он вошел в церковь, всенощная подходила к концу, на клиросе пропели: «Взбранной воеводе»; староста гасил лишние свечки; архимандрит, без облачения, в рясе и в епитрахили благословлял подходивших к нему.

Нечаев последним подошел к архимандриту и, приняв его благословение, молча подал ему образок своего товарища.

– Как, уже! – сказал отец Антоний...

Монахи, готовые разойтись по кельям, стояли в два ряда, по обе стороны паперти, ожидая последнего благословения пастыря.

Но он, вместо того чтобы идти по направлению к выходу из храма, подошел к иконе архистратига Михаила, положил перед ней три земных поклона и, поцеловав образок, полученный им от Нечаева, повесил его на прежнее его место. Потом он вошел в алтарь и минуты через три вышел из него в полном облачении.

«Что случилось?» – подумали монахи.

– Погодите расходиться, братие, – сказал архимандрит, – служба не окончена: нам надо отдать последний, священный долг замученному христианину. Помолимся, братие, о новопреставленном рабе Божиим Федоре, – прибавил он со слезами в голосе.

И, обратившись лицом к алтарю, он слабым, грустным, но покорным воле Божией голосом возгласил:

– Благословен Бог наш всегда: ныне, и присно, и во веки веков!..

После панихиды отец Антоний пригласил Нечаева в свою келью, чтобы расспросить его о подробностях казни Щегловитова. Нечаев долго не решался передать ему последние слова покойника: он не сомневался в том, что покойник простит ему неисполнение этого поручения; но увлеченный светлым умом отца архимандрита, его верным знанием людей, беспристрастным взглядом на обстоятельства времени и, главное, его редким, очаровательным красноречием, он рассудил, что советы опытного старца помогут ему разрушить или хотя ослабить клевету, так искусно оцепившую князя Василия Васильевича Голицына.

Исполнив поручение товарища, Нечаев поспешил прибавить, что, разумеется, никакой клеветы со стороны Щегловитова не было.

– Знаю, – сказал архимандрит, – этот человек не способен был лгать в том расположении духа, в котором я оставил его. И ты говоришь, Петр Игнатьевич, что сам читал его показания?

– Сам читал, святой отец, читал своими глазами вчера вечером у князя Михаила Никитича Львова...

– Тут есть несообразность, уж не пытка ли заставила его? Да нет: его никакая пытка не могла бы заставить дать ложное показание. Мое мнение, ты должен, как можно скорее, передать все эти подробности царю Петру или хотя князю Борису Алексеевичу Голицыну, дело еще может поправиться, но не теряй времени: завтра же попроси князя Бориса Алексеевича, если только он искренно любит своего брата, доставить тебе случай поговорить с царем... Хочешь переночевать у меня?

– Благодарю, святой отец, завтра, чем свет, у меня много дела, да и с вечера надо будет кое-чем распорядиться: скоро ли соберешь моих гуляющих молодцов!

Почти в то самое время, как Нечаев беседовал с чудовским архимандритом, князь Львов, успевший прочесть последний протокол дьяка Деревкина, после ужина у царя Петра, в присутствии многих собутыльников, расхваливал царю усердие и храбрость Нечаева и просил его поощрить такого полезного офицера новой наградой. Поощрение это состояло в том, чтобы перевести Нечаева в астраханское наместничество, где пограничные войска, за неимением дельного и распорядительного начальника, часто подвергались нападениям киргизов и теряли много людей не только от этих нападений, но и от побегов недовольных стрельцов в Орду и в Персию.

На другой день, – не успел Нечаев собрать своих отпускных, – как получил приказ, за подписью князя Ромодановского, немедленно отправиться в Рязань с двумя полками, над которыми он назначался начальником; в поход выступить ему непременно к вечеру того же числа и, по прибытии в Рязань, ожидать нового предписания. «Такова, – сказано в приказе, – воля государя и царя Петра Алексеевича, пожелавшего, в награду за отличную службу полковника Нечаева, дать ему случай отличиться и заслужить еще большее повышение».

Не исполнить такого ясного приказания не было никакой возможности, но и исполнить его, не повидавшись, по крайней мере, с князем Борисом Алексеевичем Голицыным, Нечаеву не хотелось. Недолго думая он около четырех часов вечера выступил в поход и, отъехав верст пять от Москвы, поручил отряд старшему по себе полковнику, сказав ему по секрету, что ему надо на ночь возвратиться в Москву и что он только на следующий день догонит отряд в Люберцах, где ему назначен ночлег.

В тот же вечер Нечаев отправился на тройке монастырских лошадей, одолженных ему чудовским архимандритом, в Троицкую лавру, в которую прибыл около десяти часов вечера, и подъехал прямо к квартире князя Бориса Алексеевича Голицына.

Но князя Бориса Алексеевича уже не было в лавре: часа за два до приезда Нечаева он уехал в Архангельск с важным и спешным поручением от царя Петра Алексеевича.

«Плохо! – подумал Нечаев. – Теперь остается мне попытаться у царевны; хоть царь ей и не очень верит, но все же не оставит ее слова без всякого внимания, по крайней мере, разберется,

в чем дело, отличит правду от лжи и не даст князя Василия Васильевича в явную обиду. Ведь он когда-то любил его, – завтра побываю у царевны, а отряд свой догоню в Бронницах».

Дав отдохнуть монастырским лошадям, Нечаев к свету возвратился в Чудов монастырь и часу в десятом («Царевна – подумал он, – в такое смутное время дольше спать не может») подъехал к тому самому Красному крыльцу, у которого, недели две тому назад, он стоял связанным и ожидал казни.

Тут ждала его новая неудача: царевна Софья Алексеевна, сказали ему, на заре была арестована и увезена под стражей в Новодевичий монастырь, в который, до окончания следствия, не велено допускать к ней никого.

– Видно, не судьба мне отблагодарить моего спасителя, – сказал Нечаев отцу Антонию, возвратившись в Чудов монастырь. Архимандрит посоветовал ему написать князю Борису Алексеевичу из Рязани.

– А я, – прибавил он, – если только меня допустят до царя, обещаю тебе похлопотать со своей стороны о князе Василии Васильевиче... Отправляйся, Петр Игнатьевич, тебе времени терять нельзя: как раз попадешь в беду.

И Нечаев поехал догонять свой отряд, который догнал верст за десять до Бронниц.

На шестые сутки к вечеру отряд благополучно прибыл в Рязань; там уже ожидал Нечаева новый приказ, которому при других обстоятельствах он очень бы обрадовался: приказом этим, написанным в таких же лестных выражениях, как и первый, Нечаев произведен был в генералы, и вместе с тем предписывалось ему, дав вверенному ему отряду дневку, отправиться на подкрепление астраханской пограничной страже, над которой и принять главное начальство.

*«Отряд вести лично, – прибавлено и подчеркнуто было в приказе, – не отлучаясь от него ни под каким видом, соблюдая между стрельцами наистрожайшую дисциплину и не дозволяя никому из них возвращаться в Москву ни по болезни, ни по поручениям офицеров. О прибытии же отряда в Астрахань и о могущих происходить с киргизами или нашими перебежчиками стычках своевременно доносить князю Ромодановскому».*

Покуда Нечаев следовал со своим отрядом в Астрахань, опальные Голицыны привезены были в Яренск. Их рассадили по разным концам острога, не допуская между ними никакого сообщения, и допрашивали то каждого порознь, то всех вместе на очных ставках. Сам царь хотя и издал, но зорко следил за ходом следствия, не дозволяя ни пыток над подсудимыми, ни произвольных толкований их ответов. Ответы эти, слово в слово вносимые в протоколы, доставлялись царю безо всяких комментариев, и из единогласных, до малейших подробностей показаний подсудимых он узнал то, что читатель знает из нашего рассказа, то есть что ни один из Голицыных не только не принимал участия в заговоре Щегловитова, но даже, – как и прежде говорил князь Василий царю, – и не мог подозревать существование этого заговора.

Одновременно по ходу следствия было перехвачено в Девичьем монастыре письмо царевны Софьи Алексеевны к бывшему своему любимцу, которого она горько упрекала, что «если б не он и не миролюбивые его затеи, то и она не была бы в монастыре и он не сидел бы в остроге». Это письмо, не дошедшее, разумеется, по назначению, еще больше укрепило царя в убеждении, что, несмотря ни на преданность князя Василия Васильевича к павшему правительству, ни на личную его привязанность к низверженной правительнице, все старания его в тяжелое междоусобное время клонились к тому, чтобы примирить брата с сестрой и чтобы общими силами способствовать начавшемуся возрождению России.

Между тем царевна еще не считала себя побежденной: погрустив несколько недель над неожиданной развязкой, приведшей ее со ступеней престола в тесные стены монастыря, оплакав несколько дней стрелецкие головы, вывешенные перед ее окнами, и проведя несколько ночей в созерцании своих печалей и в обдумывании разных планов, она мало-помалу начала приходить в нормальное положение и лелеять надежду, что ей еще рано кончать с своей политической деятельностью: то и дело открывались новые ее покушения против брата, то появится

печатная прокламация к стрельцам, то наклеится на стенах кремлевских манифест к народу. Многие рассказы о предприятиях царевны были, как и всегда, преувеличены; но и без преувеличения властолюбие и мстительный характер бывшей правительницы были слишком хорошо известны окружающим Петра царедворцам, чтобы они не боялись ее и не противодействовали ей всеми силами. И чем больше боялись они царевны, тем непримиримее становились они к Голицыным.

– Голицыны, – говорили они царю, – могут быть очень опасны: они никогда не забудут нанесенных им обид; предосторожности против них необходимы, они и в остроге продолжают отзываться непочтительно о новом, единодержавном царствовании, то порицая Петра за несправедливое удаление царя Иоанна от престола и за бесполезные его жестокости к мятежникам, то насмехаясь над его ребячьими, ни к чему не ведущими затеями... Если князю Василию Васильевичу, – продолжали царедворцы, – возратить должность первого министра (а другой должности он не примет), то царю придется расстаться с лучшими своими слугами, которых злопамятный министр ненавидит; предсмертные показания Щегловитова, правда, остались недоказанными, но за Голицыными нашлось много других, слишком доказанных вин, и этих вин совершенно достаточно, чтобы оправдать строгость царя в глазах Европы... Если, наконец, Голицыным возратить свободу и прежнее их богатство, то они будут всеми силами стараться освободить царевну, будут вступать с ней в заговоры, набирать ей сторонников, препятствовать предпринимаемым царем великим реформам.

Дошло ли рязанское письмо Нечаева до князя Бориса Алексеевича Голицына, подействовало ли ходатайство чудовского настоятеля, – неизвестно, но известно, что в конце 1690 года князь Борис Алексеевич послан был царем в Яренск – поздравить родственников своих с окончанием следствия, длившегося почти два года и кончившегося совершенным их оправданием по делу Щегловитова.

Князь Борис Алексеевич пробыл в Яренске неделю с лишком, и пробыл бы, говорил он, дольше, если б не было у него очень спешной работы в Переяславле. С первого дня его приезда положение узников улучшилось: двери тюрьмы отворились, и князь Василий Васильевич с сыновьями перешел в дом, занимаемый княгинями Феодосией Васильевной и Марией Исаевной.

– Теперь, – говорил князь Борис Алексеевич брату, – на тебе тяготект всего два обвинения, оба очень оригинальные, – я с этим согласен, – но при нынешних обстоятельствах до некоторой степени понятные: к несчастью, в истории мы встречаем не один пример, что за проигранные сражения судили и даже расстреливали полководцев, как будто полководцы с умыслом проигрывали сражения; но чего никто, нигде и никогда не видывал и не увидит, это чтоб министр был формально обвиняем в излишней преданности правительству, которому он служил. Как бы то ни было, – продолжал князь Борис, – а остающиеся на тебе обвинения так маловажны, так ничтожны, что не могут помешать поступлению твоему на службу. Первого министра в царствование Петра не будет: он, по примеру Людовика, слишком убежден, что самодержавный государь должен быть сам своим первым министром; но любое из других министерств к твоим услугам: все твои должности и звания возвратятся тебе по первому твоему прошению; я знаю это наверное.

– Ты знаешь это от самого царя или это личное твое убеждение? – спросил князь Василий Васильевич.

– Конечно, личное мое убеждение; царь не поручал мне говорить с тобою об этом, да ему и нельзя было...

– Видишь ли, князь Борис, я с тобой буду говорить откровенно, как с братом и другом: если б ты приехал ко мне с официальными предложениями от царя, то я не мог бы отвечать на них иначе как казенной фразой, а именно, что я сочту за величайшее счастье принять всякое место, которое государю благоугодно будет предложить мне. Но ты говоришь сам от себя, и

ответ мой тебе будет не формальный, не казенный, а искренний: я бы охотно, очень охотно принял Посольский приказ (Министерство иностранных дел), потому что, скажу без лишней скромности, на этом месте заменить меня некем... Еще охотнее принял бы я приказы Земский и Поместный (Министерство внутренних дел), потому что я затеял одно дело, которое увековечило бы мое имя и которое без меня вряд ли приведет к окончанию... В отнятых у меня бумагах должен быть один план, который непременно постараются затереть... Но куда бывшая правительница в заточении, мне неловко принять какое бы то ни было место от нового правительства. Этих тонкостей при дворе не понимают, но ты, князь Борис, и воспитанник твой, вы оба понимаете, что я должен дорожить моим добрым именем перед Европой... Опала и ссылка не лишили меня этого доброго имени; даже пытка не лишила бы меня его, но что бы сказала Европа, видя мою неблагодарность к царевне?.. Если царь согласится отпустить ее за границу, взяв с нее подписку не возвращаться в Россию и не вмешиваться в политические дела, то он мне развяжет руки, и я сейчас же поступлю на службу его не только министром, но хоть простым секретарем. Повторяю: я очень рад, что ты заговорил со мной о службе от желания мне добра, а не по приказанию царя; сколько я знаю царя, он не простил бы мне прямого отказа на его предложения; а теперь оскорбляться ему нечем: передавая ему нашу беседу, ты, кстати, можешь прибавить, что в эти два года пребывания нашего в Яренске здоровье мое еще больше расстроилось, что я должен серьезно лечиться прежде, чем думать о поступлении на службу, и так как здешний климат мне положительно вреден, то не позволит ли мне государь переехать в мое Медведково.

Так беседовали между собою братья, конечно, не монологами, как здесь написано, а в несколько присестов, после обеда за кофе и по вечерам, играя в шахматы. Семейство князя Василия Васильевича большей частью присутствовало при этих беседах, иногда вмешиваясь в разговор, но никогда не протестуя против решения, принятого князем Василием Васильевичем, держать себя подальше от двора и от службы. Сыновья не протестовали, потому что вполне разделяли политические убеждения отца. Княгиня Федосья Васильевна вообще не любила придворной жизни и предпочитала ей спокойную жизнь не только в Медвекове, но даже и в Яренске, а невестка ее, княгиня Мария Исаевна, может быть, и решилась бы подать *глупое мнение неученого человека*, но она с некоторых пор заметила, что когда она называет себя *глупой и неученой*, то никто, даже муж, ей в этом не противоречит, а, как угодно, это, наконец, хоть кому может показаться обидным.

Возвратясь в Переяславль, князь Борис Алексеевич передал царю весь разговор со своим братом, смягчая иные его выражения и объясняя отказ его поступить на службу причинами, которых Петр, – зная, что значит дорожить своей доброй славой, – не мог не оценить по их достоинству. Но князь Борис Алексеевич один не мог пересилить прочих советников бывшего своего воспитанника. К тому же двор вскоре возвратился в Москву, а князь Борис оставлен был в Переяславле-Залесском – наблюдать над строящимися на Плещеевом озере фрегатами, и с возвращением в Москву враги князя Василия Васильевича начали перетолковывать его слова в самом неблагоприятном для него виде.

– Не очевидно ли, – говорили иные из них, – что, прося в одно и то же время для царевны свободы и удаления ее за границу, а для себя места министра иностранных дел, не очевидно ли, что князь Василий Васильевич будет всегда иметь возможность помогать интригам царевны, которая, пожалуй, даст подписку не интриговать, но, наверное, нарушит ее при первом удобном случае. Если ж оставить царевну в заточении, позволить князю Василию Васильевичу поселиться в его Медвекове, то нет причины не возвратить Голицыным и прочим имений их, и тогда при таком богатстве и в столь близком расстоянии от Новодевичьего монастыря они могут сделаться очень опасными для правительства: все недовольные, действующие теперь без связи, без общего плана, не замедлят соединиться под знамя князя Василия Васильевича, который после ссылки делается в их глазах еще популярнее, чем был прежде...

Другие преданные царю бояре ко всем этим причинам прибавляли и ту, не менее основательную, что большая часть конфискованных у Голицыных имений была уже роздана и что отнимать их у новых владельцев и возвращать прежним было бы сопряжено со значительными для правительства затруднениями. Вознаградить же Голицыных из казенных поместий было бы, может быть, еще труднее: на постройку флота и на содержание вновь сформированных регулярных войск тратились огромные суммы; казна истощалась, входила все в большие и большие долги, от которых царь, конечно, ждал громадных результатов, но которые покуда очень стесняли его и требовали от него строгой бережливости и даже многих лишений, неведомых в образе жизни других государей Европы.

Князь Василий Васильевич очень понимал все затруднения Петра, и если он просил о возвращении ему Медведкова, то это оттого, что поместье это, требующее для поддержки его больших расходов, приносило казне одни убытки и, следовательно, не было еще отдано никому из царедворцев.

Но и этому скромному желанию князя Василия Васильевича не суждено было осуществиться: как будто нарочно, как будто в подкрепление мнениям советников царских, в начале 1691 года стали ходить по стрелецким полкам рукописные грамоты, проповедавшие пожары, грабеж и убийство ненавистных немцев и прочих приверженцев *царевича* Петра. При обыске, сделанном по этому случаю в келье царевны Софьи Алексеевны, найдено было в ее бумагах новое письмо, адресованное, по догадкам царедворцев, Голицыным.

«Недолго остается вам терпеть, – сказано было в письме, – при первой вести о имеющем произойти государственном перевороте спешите в Москву, верные друзья мои... Все страдания, понесенные вами за мое *правое дело*, прекратятся... Спешите, и вы увидите полное торжество правого дела и примерное наказание моих и ваших гонителей!»

Отчего гонителям представилось, что это письмо адресовано было в Яренск, нам неизвестно: мало ли кто, кроме Голицыных, пострадал за *правое дело* царевны: Неплюевы, Черновы, Шошин, братья Муромцевы...

Как бы то ни было, а над Голицыными назначено было новое следствие, продлившееся год с лишним и кончившееся, как и первое, полным их оправданием. Тем не менее по окончании следствия их перевезли из Яренска в Пустозерск, и положение их, и до того незавидное, ухудшилось еще более. Четыре года протомились они в этом Пустозерске, и наконец в 1696 году, вследствие собственноручного письма князя Василия Васильевича к царю, ему позволено было переехать с семейством в Пинегу и жить в ней на свободе, хотя и под присмотром начальствующих в Пинеге лиц.

Главным начальствующим в Пинеге лицом был в 1713 году, то есть в эпоху начала нашего рассказа, Спиридон Панкратьевич Сумароков, или, как в минуты нежности звала его жена, Спиридоша. Маленького роста, с серыми выпученными глазами, с седыми взъерошенными усами и с бакенбардами, торчавшими щетиной, с огромным толстым носом, разрисованным красно-сизыми узорами, Спиридоша в нравственном отношении был еще невзрачнее, чем в физическом. Дослужившись до чина второго воеводы и получив по протекции жениного покровителя князя Репнина место начальника пинежской стражи, он, в ожидании повышения по службе, занялся, по мере возможности, устройством своего материального благосостояния. Источники доходов в посаде, насчитывавшем от двухсот до двухсотпятидесяти жителей, не очень обильны; но курочка клевала по зернышку: проедет ли купец из Холмогор, – он в Пинеге непременно провинится; вывезет ли мужичок овсеца на продажу, – долг блюстителя общественного порядка – попробовать, хорош ли овес; поставит ли зажиточный обыватель новую избу, – изба эта понадобится под постой войску; перелезет ли свинья с поросятами через свалившийся плетень огорода, Сумароков, строго охраняя выгоды своих подчиненных, как называл он жителей Пинеги, штрафовал незваную гостью арестом одного из ее детей, которое и

оставалось у него в виде аманата. Иногда случалось, что провинившаяся свинья и огород принадлежали одному и тому же хозяину; но это не служило оправданием на суде Сумарокова, не любившего вообще отговорок по службе.

– Свинья – скотина глупая, – говорил он, – позволь своей свинье лазить через заборы, залезет, пожалуй, и чужая.

Вследствие этого мудрого рассуждения аманат или содержался в хлеву градоначальника, или появлялся, начиненный кашей, за столом градоначальницы.

Как сказано выше, градоначальник считал всех обывателей Пинеги своими подчиненными. Но нет правила без исключения, а исключением в этом случае были именно те Голицыны, которые, по положению их, казалось бы, должны были больше всех подходить под общее правило.

Дело, впрочем, обошлось не без борьбы, если только можно назвать борьбой подспудные кляузы с одной стороны и совершенное равнодушие с другой. Сумароков вскоре после назначения своего в Пинегу, то есть месяцев за шесть до начала этого рассказа, задумал написать на Голицыных донос.

Но чтобы написать донос, надо прежде всего уметь писать, а Спиридоша учился на медные деньги. Другой бы затруднился таким серьезным препятствием, но для сметливого Спиридоши это были сущие пустяки: в праздник Покрова Пресвятой Богородицы он отправился с поздравлением к отцу Савватию, иеромонаху, жившему на покое в красногорском Богородицком монастыре, верстах в пятнадцати от Пинеги. Время благоприятствовало этому посещению, которому Сумароков желал придать как можно менее гласности: все способные и здоровые монахи только что ушли с иконой Грузинской Богоматери в Холмогоры с тем, чтобы оттуда пройти в Архангельск и возвратиться восвояси только к весне будущего года. Так делалось по завещанию основателя монастыря инока Макария ежегодно от конца сентября по четвертое воскресенье Великого поста.

Немало удивился старый иеромонах, увидев в своей келье плохонького Спиридона Панкратьевича, с которым он познакомился только накануне, у князя Василия Васильевича Голицына, на именинах старшего сына его, князя Михаила.

– Добро пожаловать! – сказал он неожиданному посетителю, окинув его беглым взглядом и обматывая четками свою левую руку. – Добро пожаловать, хоть и не в пору пожаловал: чай, ехавши сюда, повстречал ты крестный ход. Ох, грехи тяжкие! Все дожди да дожди! Бывало, с крестным ходом за неделю до Покрова уйдут... Чем, батюшка, могу служить тебе?

– Крестный ход я встретил в Лопатихе; молебствуют, – отвечал Спиридоша. – Пока он дойдет до Пинеги, и я буду дома; а приехал я к вам, отец святой, поздравить с великим праздником: вы мне вчера больно полюбились.

– Ой ли? – спросил Савватий. – А еще зачем?

– А еще я хочу попросить у вас услуги: вы, говорят, грамотники большой руки; мастера писать и по-русски, и по-гречески, и по-латыни.

– Когда-то писал недурно, а теперь ничего даже не читаю, кроме Библии, да и то по милости старого князя, подарившего мне очки. А что тебе, примерно, написать надо?

– А вот что, святой отец, я бы и сам написал: сам морокою; да я очень близорук, а очков у меня нет... Написать мне надо одно занимательное сказание из моей жизни; хочу отдать его в печать. Царь, слышь, завел новый скоропечатный двор в Москве и очень любит печатные книги, а мы, служащие, по долгу присяги должны всеми средствами угождать царю.

После нескольких, подобных этому, предисловий Сумароков набросал под вымышленными именами городов и лиц главную нить канвы, которую он поручал вышивать отцу Савватию. В *занимательное сказание* свое он включил, чтобы вернее запутать редактора, разные ненужные подробности о Финляндии, о Малороссии, о Пушкарском приказе, о Карле XII, о Паткуле и обо всем, что ему пришло в голову.

«Что не нужно, – думал он, – я выброшу, а что нужно, – перепишу».

Благодарный отец Савватий долго не соглашался, но наконец согласился на просьбу своего посетителя. Не то чтобы он подозревал, что его приглашают быть соучастником в написании доноса на Голицыных или на кого бы то ни было. Судя по себе, он не предполагал в Сумарокове такой низости: он видел, как ласково обращались накануне обе княгини с его женой и как Сумароков казался благодарным за такое обращение. Кроме того, он знал, что многие из Голицыных находятся в ближних боярах при царе, что князь Борис Алексеевич любим своим воспитанником, что герой Шлюссельбурга и сподвижник Петра при Полтаве князь Михаил Михайлович тоже в большой силе, что, наконец, участь самого князя Василия Васильевича, по именному повелению государя, намного улучшилась и что Сумароков, известный во всем околотке своей благоразумной осторожностью, более способен угождать тем, от кого может ожидать какой-нибудь пользы, чем искать врагов в вельможах, которые могут раздавить его одним пальцем.

Но дело в том, что хотя Сумароков и очень боялся приближенных царя, однако ж он имел о составе их понятие менее чем поверхностное. Он слышал, что покровитель жены его, князь Аникита Иванович Репнин, был в милости при царе, в дружбе с Меншиковым и во вражде с Голицыными. В князе же Василии Васильевиче он видел только ссыльного, узника, зазнавшегося прежним своим положением и нуждавшегося в строгом уроке. И если он обращался с ним почтительно, даже раболепно, то это только до поры до времени. Так думал он.

Около трех месяцев работал Спиридоша над своим доносом, посещая Красногорский монастырь по два, по три раза в неделю, вставая всякий день до света и переписывая, буква за буквой, тщательно сокращенную и не менее тщательно испорченную им рукопись отца Савватия. Вся Пинега заговорила о богомолии своего военного начальника, и действительно, в Рождественский пост он поговел, в самый праздник Рождества Христова причастился и в тот же вечер, запершись от нескромных глаз и ушей, прочел жене своей плоды долговременных ночных и утренних бессонниц. Сообщаем читателю это литературное произведение, выписанное с незначительными изменениями из находящейся у нас рукописи.

«Высокорожденному благодетелю нашему сиятельному<sup>29</sup> князю Миките Ивановичу Репнину.

Хоша по неизречимой благодати великого государя и по неопытному милосердию юного монарха, содержащийся здесь, в городе Пинеге, вверенном тщательному моему присмотру, крамольный князь Василий Васильевич Голицын, лишенный всех рангов и достоинств, кроме княжеского, берет на себя обычай якобы благодетельствовать мне и супруге моей, облагодетельствованной вашей сиятельной особой, а также и сыну нашему Петру, одначе, когда дело идет о долге службы и о святости присяги, я не умею различать лицепрятия и готов принести в жертву все свое дорогое мне вышереченное семейство и самого себя. На сем основании вашему сиятельству донести честь имею, что оный князь Василий Васильевич с неукротимой семьей своей проживает совсем не так, как ему царским указом велено: из соляной архангельской казны отпускать велено на потребности одного семейства по тридцать с половиной алтынов в день, а проживает оно несоизмеримо больше: один дом, по крайней цене ценимый, стоит тысяч двадцать рублей с тем убранством, которое заведено внутри дома, и его бы, их этот дом, следовало бы сконписковать<sup>30</sup> наравне с серебряной посудой и приборами. А о крамольном семействе скажу, что старший одного сын князь Михаил Васильевич часто и сильно призадумывается: должно быть, что-нибудь недоброе замышляет. Предлагала ему супруга моя жениться и нашла невесту, а он обозвал ее дурой, за что ваше сиятельство извольте воздать

---

<sup>29</sup> Табель о рангах издана еще не была; но титулы: «сиятельство», «благородие» – начинали приобретать в России права гражданства.

<sup>30</sup> Это выражение, взятое с французского глагола «отнять», до сих пор в большом употреблении в канцелярском языке иных, преимущественно восточных, губерний России.

ему по заслугам. «Что ты, – говорит, – дура, меня, старика, на молодой женить хочешь!» Ему, вишь, пятьдесят семь лет минуло, а невесте всего шестнадцатый год: ему бы радоваться и благодарить, а он фордыбачит да ругается.

А брат его, князь Алексей, тоже не лучше, хоша и женатый на родственнице нашей. И жена его княгиня Мария Исаишна, хоша и родственница наша, но тоже нехорошая женщина: больно зазнается и кричит на прислугу.

Сын их, князь Михаил Алексеевич, тоже что-то задумчив: в дядюшку и крестного своего отца князя Михаила Васильевича пошел. Не довелось мне с этим молодым князем и двух слов сказать; такой гордец: все с дедом своим да с отцом и матерью говорит по-немецкому, и их не разберешь. И теперь его здесь нет; уехал в Москву, а в прошлом ноябре привез он сюда молодую, лет восемнадцати, жену свою, княгиню Марфу Максимовну, из рода Хвостовых, из себя красавицу. И при ней годовалая дочка Елена, которую она, с позволения сказать, кормит сама, хоша сие для дворянки, а тем паче для княгини, и не прилично. Окромя сего безобразия, она, одна изо всей семьи, знает настоящее обращение: добра и не горда, и дедушка любит ее без памяти, и она его любит. А у меня к ней по долгу службы и присяги все-таки сердце не лежит.

Перед приездом ее с мужем у князя Василия Васильевича от безумных трат приключилась недостача в деньгах: в красногорской монастырской казне двести червонных занимали, а теперь заплатили их, и еще осталось у старой княгини, у невестки-то, в сундуке три мешка, по двести червонных в каждом. Я это знаю достоверно через супругу мою, благодетельствованную вашей сиятельной милостью.

И главные расходы сего семейства производятся на излишние и тщеславные предметы: всех детей вверенного моему надзору города одевали летом в красные и пестрые рубахи, а с наступлением зимы начали одевать и в полушубки и обувать в валяные сапоги. Нашему сыну Петру тоже дубленый полушубок по жребью дали; но я, по моей правдивости, и за это потворствовать не могу и прошу вашу особу прекратить гордую и расточительную сию жизнь, на которую прямому моему начальству в Архангельск-город я донести не дерзаю, понеже тщетно по сию пору я ожидал выследить у князя Василия Васильевича подозрительное какое-нибудь лицо: никого из чужих и иногородних, окромя своих городских, у него в доме не бывает, разве только на именины *суседи* собираются, а по силе данного мне предписания я обязан доносить по начальству токмо в тех случаях, если б посещали князя злоумышленные с виду люди. И если вашей сиятельной особе благоугодно будет исходатайствовать и прислать мне, помимо прямого моего начальника, полковника Сыроева, человека вообще вздорного и малоспособного, указ допросить князя Василия Васильевича и его семейство, то я по долгу службы исполню сие с готовностью, как и следует вашей высокой особе ожидать от нижайшего и непотребнейшего раба своего Спиридона Панкратьева сына Сумарокова. Город Пинега, сего декабря, 25-го дня, лета от Сотворения мира 7220-го, а от Рождения Христова 1712-го».

– Ну что, Анна Павловна, хорошо написано? – спросил Спиридон Панкратьевич у жены своей, прочитав ей громко и внятно свое произведение. Оно стоило ему стольких трудов, что он считал его своим собственным.

– Еще бы не хорошо, – отвечала Анна Павловна. – Да ты бы, Спиридоша, прибавил князю Миките Ивановичу от меня поклон, да с праздником бы *праздравил*, да, мол, нужда у нас велика, так чтоб он, князь ет, нам что-нибудь на праздники подарил.

– Поклоны в таких бумагах не пишутся и с праздниками в них *праздравлять* нельзя, – отвечал Сумароков с важностью глубокомысленного делового человека, – неприлично; а так, *великатным* образом, я о тебе напоминаю князю Миките Ивановичу, и он, верно, пришлет тебе какой-нибудь подарок.

– Да еще скажу тебе, Спиридоша, напрасно ты так расхвалил молодую княгиню Марфу Максимовну. Эка невидаль! Только об ней и сказать можно, что молода да смазлива: а обращения настоящего она тоже не знает: даже тетушкой меня не зовет; а ведь я ей, кажись, не

чужая: мой дед, Иван Федорович Квашнин, был двоюродный дядя отцу старой княгини, ее свекрови...

– Знаю, Анна Павловна, да ведь она по себе не Квашнина, а Хвостова; так какая ж ты ей тетка?

– Не отсох бы авось язык теткой назвать! Да и хитра она не по летам: я знаю, что она терпеть не может свекровь свою и на днях как-то, – к слову пришлось, – говорю ей: «Что это, мол, на старую княгиню на Марию Исаишну никто не угодит?..» А она мне: «Вы, говорит, Анна Павловна, со мной об этом не говорите: не наше, говорит, дело судить матушку моего мужа». А когда княгиня Мария Исаишна вошла в комнату, она ей что-то залепетала по-немецкому: должно быть, сосплетничала, однако ж та – ничего...

Слушая жену, Сумароков в то же время с авторским удовольствием перечитывал свой донос.

– А как ты полагаешь, Анна Павловна, посильнее будет наш князь Репнин, чем эти ссыльные Голицыны, и сделает он по моему письму или нет?

– Конечно, сделает; и в Архангельск тебя начальником, на место Сысоева, посадит. Давно бы тебе попроситься туда. А ты бы, Спиридоша, – еще лучше, – попросился в новый царский город; говорят, растет не по дням, а по часам.

– Со временем и в Петербург попросимся, со временем...

Оставим на время честолюбивую чету Сумароковых мечтающей и предающейся надеждам на скорое повышение и возвратимся в кабинет князя Василия Васильевича Голицына, которого в начале первой главы этого рассказа мы оставили читающим трагедию Расина.

В то время как забытая нами и давным-давно насквозь прозябшая Дуня недоумевала, успеет ли она сбегать погреться домой, или уж лучше дожидаться ей пушки, в кабинет князя Василия Васильевича вошла высокая, стройная и очень красивая женщина, отчасти уже знакомая читателю по письму Сумарокова к князю Репнину. Не поклонясь деду, она подошла к нему сзади и, слегка нагнувшись над его белыми волосами, громко поцеловала его в лоб.

Старик приподнял голову, пристально посмотрел в большие голубые глаза внучки и поцеловал ее сперва в лоб, потом в оба улыбающиеся глаза.

– Здравствуй, Марфа, – сказал он, – послушай, как хорошо.

И он громким и твердым, совсем не стариковским, голосом прочел несколько стихов из монолога Агриппины Нерону.

– А что, – спросил он, кладя книгу на стол, – свекровь бранила тебя нынче? Хорошо, что ее нет здесь: опять досталось бы тебе за то, что ты так фамильярно со мной поздоровалась, а не поклонилась в пояс, как она учила тебя.

– Да ведь я знаю, дедушка, – отвечала княгиня Марфа Максимовна, улыбаясь и показывая два ряда жемчужин в коралловой оправе, – я знаю, что когда вы читаете *Ррасина*, то вам не то что в пояс, хоть в ножки поклонись, так вы не заметите.

Княгиня Марфа Максимовна картавила на букве *р*, и дедушке этот недостаток очень нравился.

– *Ррасина*, – повторил он, передразнивая внучку. – А вот теперь *гrrрубишь* дедушке: эй, свекрови пожалуюсь!

– А я не боюсь *свекррови*; мы нынче с ней большие приятельницы: с утра вместе печем ватрушки и готовим тесто для блинов.

– А Харитоныч?..

– Харитоныч недавно только возвратился от обедни.

– А ты и у обедни не побывала, безбожница!

– Нельзя было, дедушка: Еленка опять всю ночь плакала и только под утро заснула; мне и самой хотелось причастить ее перед постом, да слишком холодно нынче... Да, дедушка, я пришла сказать вам, что дети... что шалуны, – прибавила она, вспомнив, что дедушка звал их

всегда шалунами, – уже давно собрались и катаются с горы. Позвольте впустить их в застольную, не то они замерзнут.

– А ватрушки готовы?

– То-то и дело, дедушка, что не все готовы; сбитень готов, калачи тоже, еще с утра принесли... если детям, шалунам, дать сбитень на этом морозе, так они как раз простудятся.

– Вольно им так рано собираться: еще полчаса до пушки, – сказал князь, взглянув на большие, в футляре из черного дерева стенные часы, ввинченные в один из углов кабинета. Часы эти, работы амстердамского мастера Фромантеля, были привезены старому князю внуком его князем Михаилом из-за границы.

Князь позвонил.

– Скажи шалунам, – проговорил он вошедшему слуге, – что молодая княгиня приказывает им всем войти в застольную погреться и пить сбитень, в ожидании блинов, ватрушек и лотереи.

Молодая княгиня взяла дедушкину руку и нежно поцеловала ее несколько раз.

– Благодарю вас за любовь вашу, дедушка, – сказала она.

– Что это тебе вздумалось? Разве ты теперь только заметила мою любовь?

– Не теперь только... но могу ли я не ценить, что вы по первой моей просьбе разом нарушили два коренных закона дома: не кормить посадских детей до полудня и не пускать их в наши ворота.

– А как бы умно было отказать тебе в этом: что бы ты подумала, если б я из упрямства или хоть бы для соблюдения заведенного порядка морозил детей, когда тебе хочется погреть их? Да тебе, моя Марфочка, не только в этих пустяках, ни в чем не может быть от меня отказа.

– Ни в чем? Решительно ни в чем? – живо спросила она.

– Решительно ни в чем: ты все забываешь, – прибавил старик полушутя и полуторжественно, – что я был первым министром величайшего государства в мире; что, следовательно, я должен знать людей, что тебя я изучил специально и знаю наверное, что ты не можешь просить у меня ничего такого, чего бы я не исполнил с большим удовольствием.

– Ну увидим, господин первый министр: я хочу попросить вас...

Марфочка замялась и еще раз, чтоб скрыть смущение, поцеловала руку дедушки.

– Не лиси, говори прямо.

– Попросить вас, дедушка, вы, наверное, не рассердитесь?..

– Да нет же, говорят тебе!

– Я хотела попросить вас, чтоб вы нынче же, без лотереи, раздали *шалунам* все остальные полушубки и валенки. Подумайте, какая им будет радость; зима еще велика, и...

В эту минуту часы, слегка похрипев, как будто откашливаясь, начали бить двенадцать часов, и вслед за тем раздался громкий, заглушающий бой часов, выстрел.

Марфа смотрела в глаза дедушки, ожидая его ответа.

– Всякий раз, как бьют эти часы, я мысленно благодарю за них твоего мужа. Отгадал же он, что мне всего приятнее: что бы мы делали без часов в этой глуши, в эти длинные зимние ночи?

Марфа продолжала смотреть на дедушку, ничуть не разделяя его восхищения к бою часов. Напротив того, она находила, что они не могли забить более некстати.

В кабинет вошла княгиня Мария Исаевна, низко поклонившись свекру и поцеловав его руку.

– Завтрак на столе, – сказала она. – Блины нынче особенно удались, батюшка, и хоть вы и говорите, что я ненавижу вашу фаворитку, однако ж я не могу не похвалить ее и не признаться, что она мастерица взбивать тесто.

– Пойдемте в столовую, – сказал князь, взяв с этикетом, достойным двора Людовика Четырнадцатого, свою невестку под руку. – А сыновей нет еще дома? – спросил он, садясь за завтрак около внучки.

– Нет еще. Они прислали сказать, что, может быть, и к вечеру не возвратятся; делают облаву в лопатихском лесу. Завтрак послан им туда.

– В добрый час! – сказал старик. – Совсем одолели нас эти волки: всю ночь воют под самыми окнами... А что муж твой, – спросил он у княгини Марии Исаевны, – разобрал привезенный вчера обоз?

Княгиня Мария Исаевна стояла в это время на другом конце столовой, готовя *нектар* для своего свекра – разбавляя красное вино кипятком из самовара. Князь так любил этот напиток, поддерживающий его здоровье, что прозвал его нектаром.

– Обоз мы разобрали еще вчера вечером, – отвечала старая княгиня. – Шесть полушубков и шесть пар валенок на нынешнюю лотерею оставлены, а остальные заперты в кладовой.

– Ключ у тебя?

– У меня, батюшка.

– Так потрудись, Мария Исаевна, после завтрака сходить в кладовую, или, еще лучше, пусть сходит туда Марфа и велит принести все остальные полушубки и валенки. Зима, в самом деле, такая холодная, что лучше нам отложить лотерею до весны, а теперь поскорее одеть и обуть наших озорников. Займись этим сейчас же после завтрака, Марфа... Вот и третий коренной закон нарушен, – проворчал он вполголоса с притворным неудовольствием, – трех месяцев нет, как приехала, а уж весь дом вверх дном поставила!.. Блины действительно очень удались, – сказал он вслух своей невестке, подходившей к нему с чайником слегка дымящегося нектара.

Поставив чайник перед князем, княгиня Мария Исаевна вынула из кармана небольшую связку ключей и подала ее своей невестке с поспешностью, доказывавшей, как ей приятно исполнить малейшее желание своего свекра.

– Вот ключи, Марфа, – сказала она, – только, пожалуйста, смотри, чтобы не разбили посуды; она свалена около зеленого шкафа, уж, если хочешь, разберем ее вместе и сделаем опись.

– Дедушка, – сказала Марфа, поблагодарив свекровь, – мне совсем не хочется блинов! Да и ничего не хочется. Позвольте, я сейчас же схожу в кладовую.

– Нет, уж пожалуйста, вы у меня в доме беспорядков не делайте, – строго отвечал дедушка, – вам сказано: после завтрака; а что сказано, – закон!

– Коррентной закон, – шепнула Марфочка, нежно взглянув на дедушку и принимаясь за положенный им на ее тарелку блин.

## **Глава VI**

### **Лотерея**

Читатель не без удивления прочел, что семейство, лишенное всего имущества и получавшее от щедрот казны по тридцати алтын дневного содержания, могло открыто расходовать значительные суммы. Чтобы объяснить эту загадку, нам надо еще раз оглянуться лет на двадцать пять или на тридцать назад.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.